

Н. ЛЯШКО

Р34133

РУССКИЕ

НОЧИ

рассказы

Г



Н. ЛЯШКО

РУССКИЕ НОЧИ

Рассказы 1941—1944 г.

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1945

ВОЛЧЬЯ ПЕСНЯ

Овраг полыхал гроздьями рябины, листвою кленов, осин и, затаив дыхание, вслушивался, как по обрыву скатывается гул далеких выстрелов.

Звуки стлались по кустарнику, сквозь ежевику вползали в прикрытое черемушником логово и холодком взбегали карнаухому волку на спину. Он приподнимал с передних лап морду и поверх веток косился на обрыв.

Выстрелы напоминали ему гром, каким люди разлучили его со стаей и окарнали ухо. В нем просыпались тогдашние ярость и боль. Он распахивал глаза и глухо взвизгивал.

Выстрелы тревожили его весь день и оборвались лишь перед закатом. Истомившийся от тревоги воздух будто остеклянел. Первым тишину нарушил дятел,— он с обрыва слетел на горбатую осину, пробежался по ней и пискнул. Откликаясь ему, по ту сторону оврага застрекотала сойка.

Волк успокоенно сузил глаза, затосковал по темноте, багряные макушки рябин стали казаться ему обрызганными кровью.

Ночи, однако, он не дождался: из логова его выгнало что-то более страшное, чем раскаты выстрелов. Возникло оно где-то в небе и внача-

ле походило на жужжанье большого жука, затем перешло в рокот, в урчанье и угрожающе ринулось на лес.

Волк увидел несущуюся сверху огромную тень, выметнулся и в ужасе побежал по дну оврага. Тень и урчанье как бы хватали его за спину и оторвались от него, когда бежать уже нельзя было,— со всех сторон обступал мелкий осинник.

Волк в смятении продвигал между стволами костистое туловище, выбрался в бор и замер перед глухим знакомым оврагом. В овраге росли коренастые сосенки и буреющая трава. Из них тянуло прелью хвои, ароматом заячьей капусты и горечью костра, но это не пугало волка: за оврагом, в конце леса, была деревня,— оттуда ветер обычно доносил запах дыма, голоса петухов, коров и собак.

Успокоиться волку помешал все тот же рокот сверху. Заслышав его, он ширнул на скат оврага, юркнул под сосенку, но положить на лапы морду не успел: сверху рухнул леденящий визг, за лесом взревела земля, в овраг ворвался гром, а ветер смял траву и закачал сосенки...

Волк выметнулся из оврага, пересек бор и вновь оцепенел: за соснами стеною полыхал красный свет. Там была дорога, за дорогой в закатном солнце полыхали стволы берез. А волку казалось, что березы горят, что огонь вот-вот прыгнет на него. Он не мог оторвать от света глаз и все мельче перебирал лапами.

Грянувший над лесом новый рокот накрыл волка с такой силой, что из его горла вырвалось что-то похожее на собачий лай. Он стриг-

пул окарнанным ухом и кинулся к оврагу. Наперерез ему из нарастающего урчання вновь как бы выпал грохот, швырнул его в сторону и осыпал щепюю раскрошенной сосны, ветками, землей и лохмотьями можжевельника.

Он кинулся к дороге, но то, что творилось там, вконец потрясло его и прижало к сосне.

Вдоль берез скакали лошади, возле телег металась люди, коровы, овцы, собаки,— все скрипело, ржало, голосило и, будто накрытое новым грохотом, исчезло в дыму, в пыли и в клочьях медленно оседающих веток. Все, даже неподвижный свет на березах, исчезло,— лишь вырванные из земли деревья падали и прорезали мглу жуткими белыми молниями. А потом уцелевшие березы вдруг как бы разрыдались, из дыма и пыли выбежали люди, замахали руками и кинулись прямо к нему, к волку. Он взвизгнул, попятился и побежал.

За оврагом он задохнулся, спрятал язык и присел, но его сызнова оглушило визгом. Гром раз за разом потрясал лес, преграждал дорогу, налетал с боков, подстегивал сзади. Свистящий ветер, казалось, врывался в кости, выдергивал на хребте шерсть и огнем, холодом отделял от мяса кожу.

Волк натыкался на пни, на стволы и лишь с наступлением темноты вырвался в тишину поля. Обычного зеленого блеска в глазах у него уже не было; он натолкнулся на прясла и, шатаясь, глянул назад. Из-за поля в небо откуда-то метлами взлетел белый свет. Волк крепче прижался к пряслу, а метлы света погасили над ним звезды, скрестились и рухнули на него.

Этого он не мог вынести,— заметался, пере-

махнул через прясла, вбсжал в тень овина, вскинул морду и хрипло, протяжно завыл...

Первыми голос волка слышали немцы. Они пытали прикрученного веревкой к стулу красноармейца-разведчика. Голые плечи и спина его были в рубцах, с них, оставляя за собою поло-сатый след, бусинками скатывалась кровь, и он похож был на израненного орленка. Рыжий ко-нопчатый офицер раз за разом вскидывал над ним руку, топал ногами и визжал:

— Ты будешь говорить?!. Говоришь!..

Орленок стискивал зубы и не отзывался. Офицер зажал в пальцы его смуглое ухо, смял и остервенело дернул. Орленок мотнул головою и с ненавистью кинул:

— Буду, слушай...

Офицер оскалил зубы и зашпшел:

— О-о, говоришь, говоришь...

— Сейчас, погоди...

Орленок ртом дотянулся до своего плеча, слизал с него кровь и плюнул офицеру в лицо.

— Вот мой разговор...

— Ты так говоришь?..

— Так.

— О-о, плёхо говоришь... Твой язык, пфе, сопака, тут говоришь, тут...

Офицер трясущейся рукою как бы вырвал у орленка язык, как бы швырнул его себе под но-ги и растоптал тупоносым башмаком.

— Эть!

От порога подошли солдаты. Другой офицер, гощий, белобрысый, схватил со стола финский нож и, прищелкивая языком, заиграл им пе-ред лицом орленка. Рыжий приказал солдатам

запрокинуть орленку голову и автоматом рознять ему челюсти.

— На мой вопроси отвечаль?!. Ге, ге...

Руки солдат уже коснулись головы орленка,— в этот миг из черноты ночи в избу ворвался подиравший по коже хриплый вой волка. Рыжий вздрогнул и насторожился. Белобрысый опустил руку с ножом и брезгливо кинул солдатам:

— Шист...

Солдаты угрюмо и мешковато вышли на крыльцо, держась друг за друга, пробрались на огород и автоматами прострочили черноту ночи.

Волк затих, а когда солдаты вернулись в избу, заголосил еще протяжнее. Рыжий взвизгнул:

— Отвечаль? — и в удивлении стал вглядываться в орленка.

Ненависти и вызова на лице орленка уже не было,— их сменили настороженность и что-то похожее на любопытство. Он вскинул карие, с расширенными зрачками, глаза и глухо, почти деловито, спросил:

— А про что отвечать? Штаб где? О! Чего ж ты сразу так не спросил? Штаб в лесу. Ага, в лесу... Где? У перелеска... Перелесок где? А возле леса, где ж ему быть? Вон там. Э, давай, я на бумаге нарисую тебе, где... Так верней будет. Давай, развязывай. И воды, побольше воды..

По лицам офицеров прошла усмешка. Они поглядели друг другу в глаза и кивнули:

— Гут, вассер...

Тяжелая от крови веревка соскользнула орленку на колени и упала на пол. Он с усилием выпрямил руки, рознял пальцы, кое-как взял

котелок и потянулся к нему вздутыми страдающим молодыми губами. От напряжения рубцы, оставленные веревкой, как бы вспыхнули на его теле. Зубы ударились о край котелка, и он жадно припал к нему. Холодная вода вернула его телу крепость, руки перестали вздрагивать, буграстая окровавленная грудь вздымалась ровнее...

Песня волка не стихала, но немцы, казалось, уже не слышали ее и, будто зачарованные, глядели на орленка. А тот пил и пил. Ой, как он пил! И какие мысли проносились в его полуоткинутой голове! Жизнь шевелила его жесткие черные волосы и искрилась сменявшими друг друга видениями: вот идет с работы отец, вот мать улыбается, вот усеянное майками футбольное поле, вот сверкает парта стахановских курсов, вот Ленин поднятой рукою приветствует его с пьестала, вот девушка кивает ему, вот раненый командир, вот товарищи...

А вода в котелке убывала, убывала, и он делал глотки все меньше и меньше: чем больше останется глотков, тем длиннее его жизнь. Он старался продлить ее и пил все медленнее и медленнее. И вдруг ему начало чудиться, будто немцы считают отделяющие его от смерти глотки, и видения оборвались.

«Нет, языка вы мне не отрежете, нет», — яростно подумал он.

Один его глаз скрылся за котелком, другой он остановил на уголке стола и стал готовиться к тому, что будет, когда в котелке иссякнет вода. Он обдумывал каждое свое предстоящее движение и пригонял к этим движениям каждое предстоящее свое слово...

Дно котелка быстро обнажалось. Вот еще глоток, вот предпоследний, да, да, вот, кажется, последний, нет, остался еще один глоток, и еще маленький, а вот, вот последние капли. Все! Надо действовать, иначе...

Орленок размахисто поставил на пол котелок, перевел дыхание, по-рабочему ладонью смахнул с усов капельки и, будто боясь, что немцы разгадают его мысли, заторопил их:

— Ну, давайте... Вы еще не знаете, как рисует Иван Прохаськов... Но узнаете, может, благодарить будете...

Он окинул взглядом избу, горячей израненной спиной ощутил на себе дыхание немцев и поднялся со стула. Из потревоженных ран на грудь и на спину с плеча струйками побежала кровь. Затекившие ноги хрустнули.

«Ну, будь молнией, молнией», — приказал он себе и выпрямился:

— Давай карандаш, я вот тут, на столе, нарисую, вот тут...

Он шагнул под висевшую перед столом лампу и потянулся за карандашом. Самый карандаш он почти вырвал у белобрысого. В тот же миг его рука превратилась в гремящее черное крыло, смяла свет и стремительно накрыла слетевшую с потолка лампу, немцев и всю избу:

— Вот как я рисую!..

Его кулак искрами запорошил рыжему офицеру глаза и сбил его с ног. Солдаты застучали башмаками. Темнота, дребезг разлетевшейся лампы и крик орленка оглушили их. Они толкали друг друга, размахивали автоматами, хрипели: «Держи!», «Не стрелять!», «Стань к двери!» и чиркали зажигалками. А стол вдруг при-

поднялся с пола и начал бить их. Им казалось, стол находится в руках орленка. Они хватались за столешницу, ширяли по ней прикладами, но стол не давался им, отталкивал их, опрокинул стоявшего у порога солдата, с грохотом распахнул дверь и стонуще рухнул в сених. Немцы ринулись через него наружу и открыли стрельбу...

...Стена овина затрещала под пулями так, будто ее охватило изнутри огнем. Волк отшатнулся от нее, онемел и, озираясь, петляя, побежал через поле. Бежал он долго. Усталость подсекала лапы, но он всю ночь метался вокруг обжитых мест, нюхал и прислушивался. На заре, когда землю совсем как будто мирно охватила дрема, его потянуло к воде. У ручья он покосился на оставленные на изморози следы своих лап, высунул шершавый розовый язык и начал лакать пахнущую хвоей сладковатую воду.

В полевом лазарете в этот час о нем с нежностью вспоминал орленок-разведчик. Он уже сдал наблюдения, был перевязан, напоен, укутан и, прикрыв глаза, говорил товарищам:

— Ну, и волчище попался, ну, и миляга. Откуда он только взялся! Ну, будто учуял, что я на волоске от смерти, прибежал и завыл, да так, что у немцев мороз по коже пошел, а я сразу надумал, как сделать так, чтоб твари отвязали меня от стула. В драке умереть,— вот, больше я ничего не хотел, а вышло лучше... И все он,— даже горько, что я не видел его. Бродит, небось, а может, под пулю угодил... Жалко, пускай жил бы...

СЛОВО ОБ ИВАНЕ СПРОСИВЕТЕР

...над смрадом пожарищ вороньем каркали клейменные свастикой самолеты; из селений в заснеженные поля ветра доносили крики палаток; матери уносили детей от глумления и смерти в леса; по дорогам стлались стоны угоняемых в неволю девушек,— вот когда родилось слово об Иване Спросиветер...

Молва твердит, будто школьник и партизанский связной Федя Голубков смерть подманил к себе пламенем костра. Это не так: его дружок — Сеня Громов — остался в живых, — они вдвоем были в лесу. Федя накладывал на розвальни хворост, а Сеня поодаль резал в березнике ветки для метел. Костра не было.

Светило солнце, стоял холод и было так тихо, что звенело в ушах. И вдруг эту тишину скомкали голоса. Сеня встрепенулся, вытянул шею и припал к березе: вокруг Феди топталась разведка немецкого карательного отряда и юлил рыжий переводчик. Переводчик был в обшитой сивыми смушками бекеше, в черном мохнатом треухе, и его борода казалась выкрашенной охрой.

— Ты, мальчик, из Выселок? Нам надо поехать в гости к здешним партизанам... Как лучше пройти?

Федя отвечал громко, так, чтобы Сеня слышал каждое его слово:

— Не знаю!

— Но ведь они где-то здесь, а?

— Не знаю!

— А как зовут старшего партизана, а?

— Не знаю, спроси ветер!..

— А-а, вот-вот, Спросиветер, Иван Спросиветер, да?

Солдаты развели костер и, протягивая к теплу руки, через спину Гнедка косились на дорогу, по которой пришли. А рыжий все льнул к Феде, улыбался ему и без усталости спрашивал...

Федя отвечал до тех пор, пока не убедился, что Сеня слышит и понимает его. После этого он притворно всхлипнул и передернул плечами. Рыжий подвел его к костру и заворковал: ну, чего он упрямится, а? Ведь упрямством он только вредит себе, а? Ведь сюда вот-вот придут солдаты с офицером во главе... Им тоже в гости к партизанам надо, хе-хе-хе, а? Его, Федю, если он не перестанет упрямится, будут бить, может быть, убьют, а? Ну, чего ему надо? Денег? Часы? Может быть, хороший револьвер, а?

— Ну, говори, пока я здесь старший, я щедро награжу тебя... Скорее, иначе... Да вот, гляди...

Рыжий указал на двигавшуюся по дороге стаю немцев и заторопил Федю:

— Ну! Или слепой? Покажешь, а? Говори скорее, а?

Федя вновь всхлипнул и кивнул, а когда стая немцев приблизилась, молча пошагал по дороге. В глубине леса он свернул на просеку, с просе-

ки — к ручью, от ручья — на новую дорогу и... вывел немцев прямо под огонь винтовок и пулеметов предупрежденных Сене́й партизан...

В живых остались рыжий и несколько солдат. Они схватили порывавшегося юркнуть в чащу Федю и бросились назад.

Розвальней у потухающего костра уже не было. Это насторожило рыжего и немцев. Они нашли следы Сени от розвальней в березник, из березника к соседней дороге и набросились на Федю:

— Кто с тобою был здесь? Кто угнал лошадь? Кто предупредил партизан?

— Я почему знаю?!

— Знаешь, звереныш!! Говори, или...

Приклад автомата как бы расколол Федю. Он почувствовал, должно быть, близость смерти, вскинул руки и набросился на немцев:

— Бейте! Иван Спросиветер за все расплатится с вами!..

Он был в ярости, и ярость удесятерила его силы. Немцы убили его и... на еловых ветках поволокли в село...

Весть о гибели Феди тотчас же облетела весь лес. Партизаны догадались, зачем немцам понадобился мертвый Федя, и через верного человека приказали выселковской учительнице к ночи перевести одногодков Феди в лесное становище.

Учительница, рыжеватая, даже зимой веснущаягая, сзывала старших учеников, а в школу явились и младшие. Отправить младших назад она не успела: в Выселки въехал немецкий отряд с телом Феди.

Учительница́ знала, что немцы будут показывать ребятам мертвого Федю, будут дознаваться, чей он, кто был с ним в лесу, где лошадь, на которой он ехал, чья она... Младшие, может быть, не выдержат побоев, укажут семьи партизан, товарищей Феде.

Она тряхнула головою и распахнула дверь:

— Тихо, за мною! Наша школа на отлете, и мы проберемся к лесу задами, незамеченными...

На лесную дорогу ребята вышли при свете луны.

— Тут будет теплее. Машите руками... Видели, как взрослые греются? Сеня, покажи... Вот так, вот...

Младшим было трудно брести по снегу, и они просили остановиться.

— Без глупостей! Морозу того и надо, чтоб мы остановились. Шагайте дружнее...

Учительнице казалось, что ее слова не доходят до сознания ребят, и она кусала губы: надо чем-то занять ребят, чем-то увлечь их. И почему она такая неумелая? Немцы могут выследить их, погнаться за ними, и тогда — конец!

Вдруг в ее глазах блеснули огоньки.

— Не отставайте! Кто видел Ивана Спросиветер? А я видела! Я все знаю о нем. Ближе ко мне...

Отстающие пошли быстрее, и слово об Иване Спросиветер началось.

— ...До войны Иван Спросиветер трактор водил, за садом ухаживал, арбузы выращивал. Когда немцы пришли да стали грабить, казнить, в полон угонять, он ушел в лес. К нему ото-

всюду потянулись люди. Слабых он укрывал, здоровых и сильных учил, как добыть оружие.

Где он теперь? Этого никто не знает, но он всюду. В каждом селе, в каждой деревне у него есть верные люди. Это — его глаза, его уши, его руки! Через них он все узнает и будто из-под земли появляется там, где надо.

Слышали про Зеленый почин? Немцы отобрали скот и погнали к станции, — хотели отправить его немчатам и немкам, — а за скотом погнали наших девушек и ребят. Иван Спросиветер из засады перестрелял солдат, отбил скот и людей, укрыв их в лесу и нагрянул на Зеленый почин...

Немцы ошетинились и решили повесить Ивана Спросиветер. Всю округу оцепили, лес, овраги, деревни, — все ошарили, а схватить им удалось только одного, — закладывал на дороге мины. Человек попался им хмурый, молчаливый. Они к нему и справа и слева, а он будто не слышит. Обыскали его и нашли в поясе орден Ленина.

— О-о, это ты Иван Спросиветер? — радуются.

Нет, — говорит схваченный, — я его сын.

— Сын? — удивляются немцы. — Ты, что же, один у него?

— Нет, у нас в семье, — говорит схваченный, — одних Иванов столько, что чужой с толку собьется: одного зовут Иваном да еще Ивановичем, другого просто — Иваном, третьего — Иванушкой, четвертого — Ваней, пятого — Иванком, шестого — Ивашкой, седьмого — Ивасем...

Видят немцы — схваченный насмехается над ними, и ну бить его.

— Что ж,— говорит схваченный,— бейте, я к битью и к смерти приготовился. Только знайте, что, кроме Иванов, у моего отца есть еще Петры, Николай, Сергей, Алексей... Они у нас вроде опят растут, а сколько их, про то наши но-чи, леса, ветра да стужи знают. Спросите у них.

Немцы пытаются схваченного и шипят: ты с кем, мол, разговариваешь? Мы не кто-нибүдь, а немцы, а немцы умеют добиваться своего, и ты заговоришь у нас...

— Пытать людей вы мастера,— говорит схваченный,— и детей о стены убивать мастера, и звезды на пленных вырезать, и глаза им выкалывать... и мешать людям жить...

Офицер даже взвизгнул.

— Замолчи! — хрипит.— Разве ты жил? Ка-кая твоя жизнь?

— Ого! — говорит схваченный.— Еще как жил! Слушай! Я и дети мои любое хорошее дело можем сделать, до всех школ, до университетов, до академий дойти. Я всего могу достигнуть, если захочу. И везде меня в доверенные люди выберут, раз я того достоин. И всюду я награжден буду, если заслуживаю... Ты видал мой орден? Он за труд сиял у меня на груди! За труд! Вот какая моя жизнь! А твоя? Не думай, что пыткой вытянешь из меня слово об Иване Спросиветер. Не успеешь смерти моей порадоваться, как мой отец даст о себе знать...

Так и вышло. Замучили немцы схваченного, а им по телефону звонят: у лесной станции Иван Спросиветер мост взорвал, поезд под от-кос пустил, рельсы и шпалы снял,— гоните му-жиков полотно чинить...

В ватаге ребят кто-то споткнулся и упал, другой упал на него и сквозь слезы закричал, что ему холодно.

— Давайте костер разведем!

— Костер!

— Никаких костров! — крикнула учительница. — Немцы увидят огонь и найдут нас. Не задерживайтесь. Сеня, старшие, глядите...

Старшие поддерживали младших и на ходу варежками терли им носы, щеки. Учительнице казалось, что надо не так рассказывать, и она искала доходчивых слов:

— Ну, как же после этого мы глянем Ивану Спросиветер в глаза? А ведь он может встретить нас! Вот дрогнет куст, шевельнется сугроб, и мы увидим его. Да я со стыда сгорю! Мои ребята на третьем километре жалуются на холод? А ему не холодно? Или он каменный? Он дни и ночи на холоде. Ему всегда смерть глядит в глаза, но он не жалуется, не устает. Мы спасаем себя, а он обо всем народе заботится, всех защищает. Думаете, это легко? А схваченному у Зеленого почина было легко? Но он все вынес, и слово его сбылось...

Гонят немцы наших людей чинить полотно и мост, клянут Ивана Спросиветер, а рядом с ними его верные тайные партизаны. Немцы шипят, грозят, а лопаты и ломы будто сквозь землю проваливаются, насыпь ночью будто водой подмывает...

Мучились, мучились они, наладили насыпь и мост, пустили поезд—трах—опять взрыв! Чьих рук дело? Ивана Спросиветер! Где он? В лесу! И опять немцы гонят на него силу за силой, совсем уже подберутся к нему, окружают его —

вот, вот! — а он юрк — вроде воды сквозь пальцы, и опять надо искать его, вынюхивать...

В Заполье немцам подвернулся один пакостник и стал помогать им. За нашими людьми следил, золотого человека — фельдшерицу выдал: она в Заполье тайной партизанкой была. Замучили ее немцы, а предатель все юлит, старается, а того, что в Заполье есть другой тайный партизан, не знает.

Выкрал этот партизан тело фельдшерицы, переправил его для похорон в лес, поговорил с Иваном Спросиветер и давай к изменнику ластиться.

— Я вызнал, — шепчет, — где таится Иван Спросиветер, только ты меня в это дело не впускай, я боязливый, и сердце у меня хлипкое. Я тебе все открою, а ты действуй сам...

Крепче хмеля обвился вокруг него изменник, в лес сходил и доносит немцам:

— Я узнал, где Иван Спросиветер!

Послушали его немцы, видят — похоже на правду, оставили в Заполье охрану, пошли в лес и всей оравой угодили в партизанский капкан, — ни один не спасся. Для изменника у партизан пуля тоже нашлась. Мертвого привязали его к березе и надписали над ним:

«Казнен за измену родине.

Иван Спросиветер».

В эту пору партизаны отбили обоз посылок немецких офицеров: все, что награбили, заколотили в ящики, зашили и написали адреса родных. Призвал Иван Спросиветер партизанок и говорит:

— Расшейте посылки, выньте из ящичков на-

граблепное, а взамен набейте сосновых веток и не зашивайте пока... Власыч!

Власыч — это один из наших учителей, он за переводчика с немецкого при Иване Спросиветере состоит. Посоветовались они и сели писать немцам и немкам письмо. У вас, — пишут, — принято от своих душегубов посылки получать и одеваться в то, что содрано с наших живых и убитых людей; у нас, — пишут, — терпеть такое не принято, — получайте вместо награбленного добра запах леса и земли, в которую лягут ваши грабители...

Перевел учитель это письмо на немецкий язык, начал переписывать, а бумаги мало. Что делать? Вспомнил Иван Спросиветер, как русские люди без бумаги обходились, приказал надрать бересты с берез и писать на ней. Так и сделали.

В каждый ящик с ветками партизанки вложили по берестяному письму, зашили их да на сани, в сани запрягли завалящих лошадей и пустили их к станции, в логово немцев.

Голос учительницы звучал все увереннее. Слова ронялись в груди, как разбуженные весной пчелы, и она спросила:

— Наскучило?

— Продолжай!

— Про Заполье!

— Ладно. На Заполье налетел новый карательный отряд, но Иван Спросиветер сразу же через своих людей пустил слух, что в Заполье Ивана Спросиветер нет и быть не может, что он родом из Олёнок, что там и родня и жена его, что там он чуть не каждую ночь ночует...

Тут вышла у Ивана Спросиветер ошибка слух пустил, а сам с людьми не успел пригготовиться. Думал, немцы задержатся в Заполье и он перехватит их в лесу, а они сразу же ринулись в Опёнки и ну дознаваться: кто родня Ивана Спросиветер, у кого ночует он? В избах жуть завывала. Над всеми изымывались, а одну женщину с грудным вытолкали на мороз — уж очень плакал ребенок, а немцы слышать не могут смеха и плача наших детей.

Кинулась женщина в сарай, кинулась в овин — везде мороз гуляет, ночь идет. Бегала, бегала, а в избы не стучит, — знает, что немцы не впустят или ребенка убьют. Замерзать уже стала, да вспомнила, что в кармане спички есть, и побежала в лес.

Надрала бересты, развела два костра, между кострами лёжку сделала, положила на нее сына и, чтоб искра не упала на него, сидит да немцев клянет. А в лесу темно, в темноте мороз шастает, трещит — да вдруг человеческим голосом к ней:

— Ты из Опёнок? — спрашивает.

Застучала она зубами, пригляделась — в кустах наш человек с винтовкой — и стала отвечать. Узнал он, что немцы уже в Опёнках, сам не свой стал. Расспросил женщину, в чьей избе командование карателей остановилось, вывел ее на дорогу и говорит:

— Иди к ручью. Встретишь таких, как я. Скажи, чтоб схоронили тебя...

Не успела женщина до лесного становища дойти, а Иван Спросиветер уже в Опёнках. Снял главных карателей и поднял панику. Солдаты друг в друга стреляли и частью сгиб-

ли, частью кинулись в лес. Всю ночь мерещилась им в кустах Иван Спросиветер. Выбрались к утру к Черному Колодезю, глядят — в снегу столб стоит, у столба свежие следы, к столбу фанерка прибита, а на ней написано:

*«Немцы, не меня, а свою смерть ловите!
Не старайтесь: на советской земле смерть
всегда у вас за плечами!»*

Иван Спросиветер».

У немцев в глазах темно: там Иван Спросиветер, здесь Иван Спросиветер. Сорвали фанерку и бегут в Черный Колодезь, к своему отряду: так, мол, и так.

— Всех мужиков сюда! — кричит офицер.

Согнали солдаты колхозников. Выбежал офицер да в крик:

— Кто ночью за деревню выходил? Кто столб в снег врывал? Кто на фанере писал?

Колхозники молчат.

— Не смей молчать! — кричит офицер. — Всех сожгу!

Колхозники опять молчат.

— Сжечь! — скомандовал офицер.

Загнали солдаты колхозников в три избы, окна и двери забили и ну, избы соломой да хворостом обкладывать. В избах вой стоит, а напротив автоматчики выстраиваются.

Офицер уже знак подал, чтоб поджигали солому, а к нему, откуда ни возьмись, старик:

— Не жгите безвинных! — кричит. — Я все открою. Я дед Ивана Спросиветер! У меня вот даже бумага есть...

На бегу выхватывает бумагу, а за бумагой гранату — да в немцев ее:

— Нате, проклятые!

И еще, еще. Много полегло здесь немцев.

Ни один не ушел из Черного Колодезя.

— Волк, волк!

Задние оглянулись и, толкая друг друга, побежали.

— Старшие, что там?

— Вон, смотрите, вон...

На дороге, в полосе лунного света, стояла серая, похожая на волка, собака. Она прыдала ушами и нетерпеливо перебирала лапами.

К учительнице подбежал Сеня Громов:

— Это немецкая собака, она по нашим следам бежит...

— Вижу, тсс...

— О, смотрите, смотрите...

Собака заплясала на месте и кинулась назад, в сторону Выселок.

— Вот и нет ее! Трусишки, разве волк нападает на толпу? Вы все забываете Федю. Он один бегал в лес и ничего не боялся. Вы сбили меня... На чем я остановилась?..

— На Черном Колодезе...

— Да, на Черный Колодезь немцы послали самолет. Прилетел он, хриплый, мутный, вроде совы из дымохода, и ну кружить, а на нем немцы с пулеметами, с биноклями. Думали, партизаны начнут стрелять и обнаружат себя. Только не на тех напали, и самолету пришлось сбрасывать бомбы куда попало. А Иван Спросиветер дождался ночи и повел людей на новое дело...

Видят немцы — легче птицу поймать, чем Ивана Спросиветер, и давай кричать по селам

и деревням: такую-то награду получит тот, кто укажет, где Иван Спросиветер! А еще большую награду получит тот, кто доставит его живым или мертвым!..

Это они нашим кричали так, а своим шепотком отдали другой приказ:

— Русским, мол, нельзя верить, русские вместо Ивана Спросиветер подсунут простого человека и посмеются над нами. Надо в душу к ним влезть и сделать так, чтоб они друг друга боялись, чтоб они на каждом шагу измену чуяли, чтоб каждый из них дрожал только за свою шкуру. Тогда поймаем Ивана Спросиветер...

И стали немецкие офицеры и солдаты искать среди наших людей слабодушных. Больше всего к женщинам льнули. До этого только измывались над ними, на работах плетями полосовали, а тут улыбаются, руки к сердцу прикладывают, всякие слова лопочут. Иной сумку свою развязывает, а в сумке то, что награбил. Ни стыда, ни совести! Дарит награбленное девушке и дымом перед нею стелется; я тебе освобождение от работ исхлопочу, тебя больше бить не будут, я на тебе женюсь, я тебя в Германию возьму...

И что вы думаете? Нашлась в Черемушках глупая девушка — понравился ей немецкий капрал. А капралу того и надо: через эту дуру, думает, узнаю я, где Иван Спросиветер, награду получу, отпуск получу.

— Ты, — говорит он девушке, — теперь моя жена, а если ты моя жена, а я немец, то ты все равно что немка, а раз так, должна ты добра желать мне, своему мужу, а раз мне,

значит — всем немцам, иначе обоим нам капут...

Дальше да прямес. Разобралась девушка в его словах и обмерла: капрал в шпионки приспособливает ее, о наших непокорных людях выведывает, к Ивану Спросиветер, к партизанам; дороги ищет. Разъярилась она: так вот ради чего проклятый немец к ней ластился! Выждала да однажды ночью задушила его, сонного, и побежала в лес.

Бежит — в' глазах темно: как посмела она поверить немцу? Упала в чаще, о пеньки бьется, покойную мать с того света зовет, себя клянет. Услыхал ее плач партизанский дозорный и — к ней: чего голосишь? Рассказала она о своей беде и просит:

— Доведите меня до Ивана Спросиветер. Он научит позор смыть.

Пожалели ее партизаны, повели. Выслушал ее Иван Спросиветер и спрашивает:

— А ты что ж, или не знала, что враг все стелет себе под ноги? Молодец, что ко мне пришла. Надо сделать так, чтобы о твоей беде весь народ узнал. Согласна?

— Согласна, — говорит девушка, — только б чистой стать...

Понравилось это Ивану Спросиветер.

— Давай, — говорит, — напишем о твоей беде всем нашим людям.

На бересте описали они беду девушки из Черемушек, и пошло это письмо по селам, по деревням. В хлевах, в ямах, на подневольных работах, в тайных становищах, в пещерах узнали, как враг онутывает наших людей, как

добивается он, чтобы над ними была его подлая власть...

— Не озирайтесь и слушайте! Иван Спросиветер ни перед чем не останавливается и не бросает дела на половине. Надо было прервать движение поездов, а люди все в разбросе. Сложил он руки? Нет. Из конца в конец носился по округе, а вывел из строя железную дорогу.

Пришлось немцам сгружать подкрепления у Лесной станции и гнать их на фронт машинами, подводами. Пришлось им в Островках ставить большую охрану. Иван Спросиветер подтянул туда силы, приладил отбитые телефоны, мины закладывал, мешал чинить мосты и дороги, снимал часовых и живьем в мешках переправлял куда надо, выманивал немцев в лес, подбрасывал им письма,—до того допек их, что они вдвое повысили награду за его голову. Не успели растрезвонить об этом — хлоп! — находят у себя берестяную записку:

«Эй, дешево оценили мою голову! За ваши головы я гроша не дам, — даром сниму.

Иван Спросиветер».

Взвыли немцы: как записка в штаб попала? кто подбросил?

Островским людям за околицу нельзя было выйти: немцы всех хватали и отправляли на тот свет. А Иван Спросиветер за каждого нашего замученного убивал немцев и на каждом убитом писал, кто его убил. На задах, на дорогах, в сараях находили немцы убитых и читали на них: «Иван Спросиветер».

— А для чего он писал?

— Чтоб немцы из-за каждого угла гибели ждали, чтоб им мерещилось, будто Иван Спросиветер ветром носится и сразу в двадцати местах бывает. Немцы всего боятся у нас: кустов, деревьев, темноты, голоса птицы, свиста ветра, — везде им чудится Иван Спросиветер...

Горше всего немцам было в Островках по ночам. А ночи в Островках, особенно осенние, черны, как деготь. Кругом лес, за избами сады, в палисадниках клены, рябины. Разгуляется ветер, вокруг все шепчет, звенит, гудит...

Немцы с вечера выставляли часовых, пулеметы, пушку выкатывали и дрожали в избах. Ветер по земле листву гонит, ветками стены царапает, а часовым мерещится, будто Иван Спросиветер крадется...

Сказали об этом Ивану Спросиветер. Позвал он девушку из Черемушек, рассказал ей все и говорит:

— Сходи к островским подружкам, поколдуй немчикам, а колдовству я тебя обучу...

Выслушала девушка наставления, нарядилась нищенкой, юркнула на островские огороды — и будто не было ее. А как разгулялась непогода, у немцев стряслось чудо: вышли среди ночи посты проверять — ни часовых, ни пулеметов, ни пушки. Кинулись к телефону, а тот не работает, — люди Ивана Спросиветер срезали и смотали провода.

Немцы стрельбу открыли, суетой от страха оборонялись, а утром нашли на мосту берестяную записку:

*«Немцы, ау-у! Ваша пушка и пулеметы
учатся у Ивана Спросиветер по-русски
разговаривать».*

Немцы вырубали в Островках палисадники, сады, охрану усилили, начали новые провода натягивать, а заложенных на большаке мин и веселья в глазах островских людей не заметили: часовых, пушку и пулеметы забрали в полон женщины и девушки...

Как? Ого! Наши люди все могут! Разгулялся ветер, девушки подкрались к часовым, да хватить их, да в рты тряпки, а руки назад да веревками... А на пушку аркан да к речке се и в лес. Вот. Пользу может принести каждый, самый слабый, даже школьник. Возьмите Федю. Теперь все открылось, а ведь он долго орудовал.

— И все один?

— Разно было. Пускай немцам чудится, что Федя не один, что Иванов Спросиветер сто, тысячи. А им чудится это. Что недавно было в нашей округе?

Двинулся Иван Спросиветер с отрядами в одно селение, а немцы выловили шестерых особо доверенных тайных партизан. С этими людьми у Ивана Спросиветер, должно быть, был уговор, как держаться им в черную минуту: все шестеро держались на допросах одинаково. В избе, где их допрашивали, на печи затаился дед. Он все видел и без слез рассказывать не мог потом...

Немцы верили, что один из шестерых Иван Спросиветер, и первого допрашивать стали чуть не с песнями, а он им ни слова, ни полслова. Они к нему по-русски, по-украински,

по-белорусски, — он будто не слышит. Разозлились и начали пытаться его, да все жестче и жестче, — молчит. Только перед смертью встрепенулся и простонал:

— Ничего не добьетесь: Иван Спросиветер умеет молчать.

Простонал и умер.

Подивились немцы и кивают солдатам, чтоб вели следующего. И этот будто не слышит, а глазами говорит такое, что никаких слов не надо. Только перед смертью крикнул:

— Иван Спросиветер себе не изменит!

— Как? — ахнули немцы. — И ты Иван Спросиветер?

— И я, — отозвался партизан.

Отозвался и умер.

Немцы за третьего принялись и показывают ему на замученных:

— Вот каким станешь, если будешь молчать. Кто из них Иван Спросиветер? Этот? Или этот?

Партизан ни слова. Все муки принял, перед смертью назвал себя Иваном Спросиветер — и только. И четвертый так. Все шестеро так.

У немцев в глазах потемнело: значит, Иван Спросиветер не один? Их много? Что это за люди? Могли остаться в живых, но не захотели. Почему?

Вернулся Иван Спросиветер, раненых привел, а ему говорят о гибели шестерых. Выслушал он и заплакал. Жалко было верных людей, а главное — понял он, что немцы не сами выловили их: кто-то выдал, кто-то напал на его след.

Приказал он своим людям в новых местах

подземелья и землянки рыть, приказал долог, и погуще ставить; распустил слух, будто сам он пойман и замучен немцами, а отряды его разбежались, и стал донскиваться: кто выдал друзей, откуда надо ждать беды?

Немцы обрадовались, подлеи стали грабить, полонить людей, посылки в Германию готовить,— отовсюду летели в лес лютые вести. Даже деревья стонали.

Шел раз Иван Спросиветер, слышит, — плачет кто-то. Вышел на тропу, видит, старуха плетется и плачет. Остановил ее:

— Куда, бабуся?

— Куда глаза глядят,— говорит старуха, — лишь бы извергов не видеть. Сама передушила бы их, а чем? Ведь не руки, а хворостинки у меня...

Показывает старуха Ивану Спросиветер свои сухие руки и горше плачет:

— А Иванушка лежит в нашем селе с пятью дружками, землю не прикрытый... И похоронить его не дают, мертвенького ногами пинают, сараи набивают людьми для плена, и отбить их некому будет. Пока жив был сокол, боялись, а теперь...

До сердца прожгли Ивана Спросиветер эти слова. Тряхнул он головою и кладет на плечо старухи руку:

— Врут, бабуся, немцы: не убить им Ивана Спросиветер.

— Ох, не плети ты чего не надо,— отмахивается старуха — Я сама на него, на мертвенького, слезы лила...

— Ты, бабуся, друзей его оплакала. Твоя

слеза не пропадет. Хочешь увидеть Ивана Спросиветер?

— Да господи! Гляну — и умру.

— Зачем умирать? Ты Ивану Спросиветер помощницей будешь. Идем!

Привел Иван Спросиветер старуху в партизанскую землянку. Увидала она родную силу, встрепенулась от радости.

— Сыночки, может, и в самом деле мои руки годятся еще на что-нибудь?

— У тебя, бабуся, — отвечает Иван Спросиветер, — такая душа, что от нее твои руки крепче дуба. Дела для тебя непочатый край... Слушай...

Вникла старуха в слова Ивана Спросиветер, переночевала у партизан, а утром с вязанкой хвороста явилась в свое село да в слезы и — к немцам:

— Ой, будет беда! Я в лесу такое видела, такое подслушала...

Повели ее к офицерам, и зашептала она им, будто в овраге сидят какие-то люди, будто собираются они ночью пробраться в село и добро колхозников в лес перенести, а добро это зарыто будто в подпольи бежавшего к партизанам председателя колхоза: там в ящиках материи всякие, одежда, часы, кольца золотые.

У офицеров глаза загорелись, — вот, мол, кстати: еще раз в Германию посылки пошлем. Зовут лейтенанта, зовут капрала, дают им солдат, дают старуху в провожатые и посылают овраг оцепить. Выпроводили, а сами в избу председателя колхоза. Спустились в подполье, посветили, — все так, как старуха говорила: в углу сломанные кадки, под кадками недавно

утоптанная земля. Стали копать, уперлись заступом в ящик, а чуть тронули его, грянул взрыв,— от офицеров только тряпочки остались. И отряд в лесу весь полег.

За все расплатился Иван Спросиветер, плененных из сараев освободил, останки шестерых друзей взял и оставил у околицы памятку:

«Немцы! Иван Спросиветер воскрес!»

— А бабка что? Убили ее?

— Нет, живая! И теперь, может быть, на посылках у Ивана Спросиветер ходит. Там подсматривает, там берестяную записку тайному партизану передаст, там слово скажет, там слово шепнет, там знак даст, там нищенкой в избу проберется и божится, крестится, про сны чепуху торочит, а сама все высмотрит, запоры ощупает...

Узнало командование немцев, что Иван Спросиветер воскрес, и шлет на партизан стаю самолетов. Что тут было! Самолеты режут, бомбы сбрасывают, а по лесу с четырех сторон идут солдаты и все выжигают, выбивают. Сошлись в Кошицах — нет Ивана Спросиветер.

От злости хрипят, а Иван Спросиветер тут же, в Кошицах. Не сам он, а его верный тайный партизан. Немцы губы кусают, а он ихнему командованию хлеб-соль подносит, в бывший колхозный детский дом ведет, на столы с едой и брагой показывает. Потеплели немцы, но боятся отравы и толкают к столу тайного партизана: ешь, мол, и пей сначала сам. Он пробует все, посмеивается...

Выпили немцы, — хороша брага. Запьянели, а тайный партизан подливает, пустую посуду

подбирает, еще за брагой в погреб будто собирается, а сам ждет назначенного Иваном Спросиветер часа. Дождался, юркнул в погреб, чирк-чирк спичкой, зажег шнур к заложённой мине и — наружу. Выбрался за сарай, — детский дом охнул и взлетел к небу...

...На все хитрости шел Иван Спросиветер, всех поднимал на мeсть, днем и ночью не давал немцам покоя, а тревога все колола в сердце: не рано ли он воскрес? Ведь таятся где-то предатели, подбираются к нему, к его людям и готовят пытки, смерть. Долго не знал он покоя...

Открылось все нечаянно.

Шел он при луне на свиданье к одному тайному партизану, из-за кустов выглянул на дорогу, а там какой-то старик идет и вроде б комедию ломает: идет, идет да уронит палку, поднимет ее, сделает шаг-два и опять уронит:

«Это не просто», — подумал Иван Спросиветер и пошел за стариком.

Дошли они до перекрестья, старик сворачивает к бывшей охотничьей теплушке.

Иван Спросиветер стороною обогнал его, шмыгнул в теплушку и стал в сенцах за дверь. Старик уже вот он. Иван Спросиветер из-за двери хватя его за руки и шепчет:

— Тсс... Я Иван Спросиветер. Слышал про такого?

Старик будто ждал этого.

— А кто про тебя не слышал? — радуется. — Я и шел с причудами, чтоб меня кто-нибудь из твоих ребят задержал. Ты только и снимешь с меня петлю...

— Какую петлю? — удивляется Иван Спросиветер.

— А рукавицы эти проклятые,— шепчет старик. — А вот вынь из-за моего голенища...

Взял Иван Спросиветер рукавицы старика и ну в полоске лунного света разглядывать их. Рукавицы матерчатые, бросовые. Вывернул их,— подкладка белая, не заношенная и чуть-чуть пристегнута. Оторвал ее,— на изнанке карандашом план леса сделан, под планом слова и цифра на цифре.

— Кто писал?

— Не знаю,— говорит старик,— а кто послал меня, знаю.

Вот тут-то Иван Спросиветер и ухватился за ниточку, что к предателям вела...

В ту же ночь...

Учительница обернулась на крик и вздрогнула: неподалеку мелькала голова серой, похожей на волка, собаки, тишину разрывали далекие голоса немецкой погони:

— Хальт! Хальт!

Учительница заговорила громче:

...— В ту же ночь партизаны схватили предателей и привели в лес...

Сзади грянули выстрелы.

...— Предатели упрямылись,— еще громче заговорила учительница,— но старик уличил их, и они выдали тех, кто помогал выслеживать Ивана Спросиветер...

Вдалеке грянули выстрелы, с веток посыпались сбитые пулями хвоя и снег, ребят охватил страх, и учительница подняла голос до крика:

— Это немцы! Они будут дознаваться, кто с Федей был в лесу. Но они ничего не узнают от

нас. Иван Спросиветер будет гордиться нами! Шагайте, уже близко... Я продолжаю...

Узнал Иван Спросиветер, кто выдал шестерых друзей, и шлет партизан...

На этом слово об Иване Спросиветере было оборвано. Оборвали его вышедшие из-за поворота дороги люди в тулупах, с винтовками, с автоматами, с пулеметами:

— Будет, потом доскажешь! Сворачивай сюда и веди ребят по следу. Прыгайте, богатыри, за вожатой...

Разгоряченные ходьбой и словом об Иване Спросиветере, ребята прыгали через канаву и гуськом бежали за учительницей.

Выстрелы сзади участились и стали отодвигаться в сторону. В глубине леса из-за упавшей сосны выступили партизанки на лыжах и указали на дыру под корневищем:

— Юркайте туда. Смелей, смелей...

Ребята прыгали под корневище и по длинной темной норе проходили в партизанское подземелье. У стола под горящей лампочкой стоял партизан в серой папахе. Он оглядел ребят, улыбнулся и спросил:

— Ну, рады, что попали в гости к Ивану Спросиветеру?

Мальчики вздрогнули и впелись в него глазами, а один шумно перевел дыхание и взволнованно спросил:

— Ты, ты Иван Спросиветер? А мне говорили, он старый...

— Это о моем отце говорили, — шире улыбнулся партизан. — Он старый Иван Спросиве-

тер, а я молодой, мы с ним тезки. Дружок Фе-
ди здесь?

— Здесь,— выступил вперед Сеня.

— Угнал Гнедка?

— Угнал, а вот Феда нет...

— Да, мы не успели отбить его. Но не го-
руйте! Таких, как Феда, народ никогда не за-
будет... Садитесь на пеньки, располагайтесь у
стола...

В стене чуть слышно задребезжал телефон,
и партизан метнулся в угол:

— Кто? Повтори! Слушает дятел пять, да,
дятел пять. Собака убита? Bravo! Остатки пе-
рехвати у Выселок. Узнай, нет ли у них еще
собак? У Колодезя буду, как говорил. Ребята?
Все целы...

Партизанки на лыжах двигались к дороге и
метлами на длинных палках заматали следы.
Снег мигал и переливался в полосах лунного
света.

А в стороне лес и воздух гремели и кури-
лись снежной пылью: Иван Спросиветер, его
сыновья, друзья и товарищи рыком пулеметов,
стрекотом автоматов и треском винтовок про-
должали прерванное слово...

РУССКИЕ НОЧИ

На погосте, в одной из крайних могил, лежат шесть немецких солдат: Гаульштих, Шламо, Штрумвельт, Штрам, Берг и Мюллер.

Перед тем, как они были зарыты туда, через село дни и ночи проходили женщины с детьми, старухи, старики. Глаза их застилала пелена ужаса, а с уст слетал оторопелый лепет:

— Да, немец близко, да но... куда бежать? Да и то сказать: люди мы маленькие, неприметные... Кому нужны?..

Слова были жалкими, сбивчивыми, но настояживали: в самом деле, куда бежать? Мать Марины, старая Марфа Королевец, заколебалась и начала вслух мучиться: ну, куда она на старости побежит? А что с коровой станется? А куда она денет кур? И свекла еще не вся убрана. И топлива не запасено. А с Мариной как? С узелком прибежала, бедная, из города, одеяло и пальтишко немцу проклятому кинула, а теперь опять беги. Но куда, куда, скажи хоть ты, господи? — ты, говорят, все видишь. Ведь молодая, хорошая, где спрячешь ее с красотой? Нет, не поведет Марфа своей Марины, своего цветка, от родной хаты.

Марфа спрятала в землю вещи, а Марине

сшила холщевый, изнутри лубком и лучинками проложенный, легонький горб. От горба шли ляпочки, пояса, и он ладно, совсем как настоящий, прилегал к молодым плечам и спине. Но этого Марфе было мало,—она кое-как подстригла Марину и достала где-то старенькие, с кожаными подушечками, костыли.

— Вот так, доченька, вот так, да не бойся и не стыдись: чего стыдиться? Горбом да костылями прикроюсь от вражьего глаза, а потом снимем, и поедешь в город доучиваться...

И накладывала на стройную спину горб, прилаживала на боках парусину, застегивала на груди ляпочки и пояса. Подавала костыли и учила, как передвигать их, как сгибать на ходу ноги, чтобы они казались кривыми. И разводила на тарелке сажу, учила подводить под глазами синцы, а волосы держать взлохмаченными и слипшимися; учила, кроме того, косоротиться, чтоб лицо было страшным, и мычать, как немые. Ну, кто на такую позарится?

А чтоб не подвели соседи, Марфа твердила, что к ней забрела с захваченной немцами стороны немая горбунья.

Над лесом все чаще пролетали самолеты, с запада доносился грохот: казалось, по полю бегут чудовища в чугунных сапогах, сапоги их увязают в земле и с грохотом и треском разламываются: бам-бам, ддр-ддр!

Грохот нарастал, а затем, будто подхваченный ветром, подался в сторону, и землю сковала тишина. Из этой тишины в сельскую улицу с поля опрометью вбежали чужие собаки. Они дико глядели на хаты, жались к плетням

и с визгом убегали от людей. Далею жнивья проскакали кони без седоков.

Солнце закатывалось, и в его багряном свете из-за речки низко летела стая ошалелых ворон. Карканье как бы царапало небо и наводило страх на людей и скотину,— все жалось к жилью и ждали...

От правления колхоза к хатам кинулись подростки, девушки и в последний раз прокричали, по какой дороге надо уходить из села. К лесу потянулись телеги, ручные возки, люди с узлами, а за ними дети. Те из матерей, что боялись бежать, прятали дочерей в погребах, а детей в сараях, в соломе. Старики укладывали в ямы скарб, мешки с мукой, посуду, забрасывали их соломой, хворостом, землею, а сверху втыкали метки. За этим и застала их первая вечерняя звезда.

Стало совсем как будто обычно, но вдруг затревожилась где-то собака, другая завывала, а в противоположном конце села собаки яростно залаяли, сразу как бы надорвали голоса и завывали. Старухи зажгли припрятанные к смертному часу свечи и вынесли на завалинки иконы, чтобы те защитили их от беды. Страх перекинулся к детям, плач слился с воем собак, с мяуканьем кошек и мычаньем скотины.

От ветряной мельницы донеслась немецкая команда, зафыркали автомобили, затрещали пулеметы, и немецкий карательный отряд с трех сторон ворвался в село.

Солдаты вбегали во дворы, прикладами выгоняли людей из хат, сдергивали с них сапоги, тулупы, платки; птице сворачивали головы и совали ее в мешки, в сумки; мелкую скотину

убивали и бросали в телеги, в двуколки, в автомобили; старух и стаонков били и убивали за то, что они пятнлись и осеняли себя крестом; детей вырывали из рук матерей за то, что те плакали; больных прикладами сбивали с ног за то, что они быстро не могли выйти наружу,— всех оглушали прикладами, пинками и яростно торопились, как бы опасаясь, что больше не на кого будет кричать, некого бить, не к кому врываться.

Выгнанных из хат подхватывали солдаты (которые грабили и насилывали вчера или будут грабить и насилывать завтра) и гнали их на площадь. На крыльце сельского совета у фонаря перебирали бумаги немецкие офицеры, а усатый человек в буром теплом пиджаке размахивал руками и по-русски кричал:

— Ближе! Стать на колени! Все па колени!..

Когда люди были поставлены на колени, к фонарю придвинулся ершистый начальник карательного отряда в кожаной каске и неожиданно тонким фальцетом заговорил:

— Вьёт, росские люти, немецки зельдат дарит тепе слапота от бьёльшевик, все слюшайт каспадин Студиньски, вьёт...

Больше слов у офицера не было, и он указал на господина Студинского, то есть на усатого.

— Вам понятно? — спросил тот. — Вы будете подчиняться мне. Поговорить мы успеем, а теперь я должен сказать вам, что ваше село у командования на большом подозрении. В вашем лесу шалят, и командование интересуется: куда попяталась коммунисты? Есть у вас коммунисты? А комсомольцы? Что, боитесь говорить? Теперь вам бояться некого. А где партизаны?

Не знаете? Ничего не знаете? От души советую: не гневите командование. Кто умеет рыть землю, встаньте с колен и отойдите влево! Что, никто не умеет?

В толпе несколько человек встало с колен.

— Так, отойдите влево! А вы, значит, не умеете? Вас советская власть работать не учила? А для советской власти могилу рыть сумеете? Хлопцы!

Из-за крыльца вышли бритые люди в свитках. Они вошли в толпу, начали вздергивать людей с колен и толкать их влево. Пока они делали это, мешковатый солдат в бескозырке по лестнице взобрался на когда-то сделанную сельскими комсомольцами трапецию и перекинул через перекладину жгут веревок. Вертвки змеями качались в свете фонаря, а усатый все кричал о том, что ждет партизан и тех, кто кормит их, и тех, кто не указывает, где они...

Под его крики солдаты вытолкнули из-за лома захваченных в лесу пятерых комсомольцев и трех комсомолок. Одежды на них не было — одни лохмотья, лица черные. Селяне вспомнили слова комсомольцев о том, что враг идет такой, какого не видел свет, что ничего не надо оставлять ему, встречать его хоть вилами, хоть топорами, защищать себя от надругательств над собою, над близкими, над землей, над тем, что любишь...

Людей пронизывал холод: они не поверили комсомольцам... и теперь с содроганием глядели на то, что творилось.

Немцы толково и привычно вешали. Вечную память казненным в толпе вылакивали, зы-

крикивали, а немцы были за это. Иные женщины и дети тут же нашли смерть, а уцелевшие бежали, хватаясь за головы, хотя бежать им уже некуда было,— у хат их перехватывали часовые и приказывали стоять на улице неподвижно и молча.

Солдаты Штрумвельт, Гаульштих и Шламо вели себя в хате так, что Марфа и Марина захлебнулись криком. Затем грянули выстрелы, и по селу разнеслась весть, будто горбунья убила трех солдат, будто горбунья — это и есть Марина Королевец. Ее мужество выпрямило людей. Они мысленно называли Марину своей мальвой, а себя сравнивали с выгнанными за ворота собаками. Стоят вот, слушают, что творится в хатах, и молчат, будто не видели, как умирают настоящие люди. Так, на перекладине, и Марина умрет, а они останутся. Надо душить, резать немцев, а они притворяются, будто не знают этого и не понимают, почему к хате Королевец бегут солдаты, офицер и этот усатый, из бывших господ...

Усатый, три солдата — Штрам, Берг, Мюллер, офицер и два бритых человека в свитках не успели добежать до хаты Королевец,— как бы обгоняя друг друга, споткнулись и рухнули на дорогу. Всех — в хате троих и на улице семерых — убила Марина и будто бы растаяла в темноте. От Марфы немцы ничего не могли добиться.

— Стрелял кто-то, верно. А как не стрелять, как терпеть такое? Дочка? На что вам дочка? Мало народу загубили? А может, у меня не

дочка, а голубка, ласточка. Была вот — и улетела. Всем надо бежать от вас, с вами ни одна душа не выживет. Разве вы люди?..

Так, без плача, как бы разговаривая с собою, умерла под прикладами старая Марфа. Немцы обыскали хату, чердак, сарай и огород, привязали к воротам, к деревьям соседей Марфы и расстреляли их.

Ночь мглою заволокла звезды и укрыла землю. У хат корчились от холода раздетые люди, а сесть, прижаться друг к другу, припасть к родным стенам немцы не позволяли им. В хатах солдаты жарили мясо, ели, пили, били посуду, пьяным смехом заглушали вопли женщин. В подпольях корчились, прикрытые досками и землю, спрятанные девушки, на чердаках, в хлевах, в соломе дрожали дети, — вот какая была эта ночь!

У хат люди плакали от бессильной ярости, от гнева, а рядом с яростью вставало изумление перед злобой врагов, — вот какая была эта ночь!

Часовые от хаты к хате подавали друг другу голоса, и это тревожило начальника отряда. Он, должно быть, слышал, какую силу таит в себе ночь. Он был сыт, — на тарелке остались ломти жареной свинины. Он был спокоен за завтрашний день, — солдатам приказано припрятать для него гуся и масла. В углу стояла кровать, но он не мог лечь. Сердце ныло, шаги и голоса под окнами настораживали, а вестовые приносили донесения одно нелепее другого: будто в поле часовым была замечена стая гусей; будто по полю рядами ходят какие-то снопы и передвигаются ометы соломы; будто от ле-

са к речке чуть ли не на километр передвинулся сосновый перелесок; будто за селом на дне оврага навзрыд плачут дети.

Хорошо, что прекратились дожди! — в непогоду ночь была бы страшнее! Начальник отряда вдруг гасил свечу и глядел в черноту: оттуда, чудилось, кто-то следит за ним, кто-то целится в него. Вот опять что-то случилось. Прибежал капрал караульной роты: в одной из хат через окно кем-то застрелены три солдата. Через окно, брр!

— Три? Почему три?

— В хате их было только три.

Спросить, что делали перед смертью эти солдаты, начальнику помешало бешенство: еще троих не стало, а с вечера не стало тринадцати, а за сутки сорока семи, а всего в лесу им потеряно больше ста человек... Здесь не люди, а злые призраки. Надо найти убийц — раз, если убийцы не будут найдены, надо расстрелять всех жителей, а хаты сжечь — два...

Приказ начальника понравился капралу, и он ушел подбадривать солдат. Убитые солдаты уже лежали возле хаты, руки их были сложены на груди, и в черное лицо ночи глядели, казалось, не насильники и грабители, а павшие в бою brave солдаты.

Убийц искали в садах, на огородах, на гумнах; чтоб было светлее, жгли солому и плетни. Хозяева хат уже знали, что завтра их дворы с дымом умчит ветер, и звали смерть, а к ним вместо смерти завернула надежда: со стороны леса промелькнула Марина с костылями в руках. Возле хат все затаили дыхание: тсс, раз Марина была в лесу, значит она не зря ходи-

ла туда, значит она кого-то видела там, значит еще можно на что-то надеяться,— иначе Марина не вернулась бы в село...

Небосклон начал сереть, и люди от хат с трепетом заметили, что перед селом выросли копы снопов, ометы соломы. Откуда снопы? Ведь снопов уже нет,— даже солома спрятана в лесном яру. Не-ет, это не снопы, это...

Ночь шаталась под волнами серого, потом синего света, шаталась и падала. Ветер ожег лица и застлал глаза слезами: скоро заря, а старикам казалось, что зари не будет: смелые повешены, дети убиты, женщины и девушки псруганы, хаты ограблены,— какая может взойти заря? Но солнце взошло, и все заискрилось, засверкало в его лучах...

А начальника отряда еще мучила ночь. Он чего-то ждал, косился на окна и неожиданно увидел облитых солнцем повешенных парней и девушек. Они пойманы были в лесу, там, где он потерял больше ста солдат. Семь русских за сто немцев... о, это мало, очень мало! Начальник закрыл глаза и положил голову на руки. Тиканье пристегнутых к руке часов ворвалось в уши треском выстрелов. Он в испуге открыл глаза и глянул на циферблат: маленькая стрелка строчила лентой терций, стрелка побольше строчила лентой секунд. А в сознании плыли ужасы пережитых русских ночей: затянутое тучами небо, вода сверху, вода под ногами, шум леса, шорох, гул, крадущиеся шаги, чьи-то крики...

Как бы отбрасывая темноту, слякоть, шум деревьев и шорохи, начальник взмахнул рукою и стал думать о Гейдельберге, где учился, о

Мюнхене, где шил шиво, о Берлине, где расстреливал коммунистов, о голодном Париже,— о, куда угодно, лишь бы не эти ночи, не мокрое небо, не темнота, не безвестье, не люди, выбегающие из оврагов, из-за деревьев, подкрадывающиеся кустом, сосной. Очутиться бы в Гамбурге, сесть на пароход,— но ведь Гамбург, может быть, под взрывами бомб, а пароходы... Куда он может уплыть? Ему обещали весь мир, но мир теперь не лучше русских ночей. Ведь он — немец, и плыть ему некуда!

Начальник вздрогнул и глянул на часы. Думать и мучиться было уже некогда: время, которое он отвел людям на поимку убийц, истекло. Он криком вызвал дежурного. Грянула команда, и разбуженные солдаты погнались людей от хат туда, где они вчера стояли на коленях.

Надежда уже оставила людей, и они не удивились, что немцы все приготовили для расправы: от виселицы глядели пулеметы. На крыльце с офицерами, вместо убитого ночью господина Студинского, стоял человек в жупане. Он вскинул руку, собираясь говорить, но за соседней хатой раздался свист. Немцы воззрились туда и увидели горбунью на костылях.

Солдаты шагнули к Марине, но она увернулась от них, юркнула в расступившуюся толпу и закричала:

— Люди! Я пришла сказать, что солдат, троих, семерых и еще троих, убила я! Я сделала, как учили они...— Марина указала на виселицу.— Немцы знают, что убивали не вы, но будут губить всех. Вот они какие! Видели? За таких не бывает ни греха, ни стыда. Краше ду-

шить, убивать их и умирать в петле, чем жить под ними. Они тело и душу, они всю землю и солнце пакостят...

Офицеры кричали, чтоб солдаты взяли Марину, а к ним на крыльцо из-за соседней хаты пролетела граната, в поле зашевелились снопы, рухнули ометы соломы и застрекотали пулеметами, зашумели шумом русских ночей, закричали русскими голосами.

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

Ветер встряхивал ветлу и, как бы сгребая облетающие листья, падал с крыши в темноту. Бурьян шарахался от него и царапал стены. Старухам в бане слышались шаги и голоса немцев. Та, что лежала у порога, приоткрывала дверь и шептала в предбанник:

— Что там? А? Идут?

— Да нет, ш-ш-ш,— шикала учительница.

Она лежала на скамейке и сжимала на груди руки: нет, никогда она не была такой беспомощной и жалкой. В самые трудные годы находила выход, а теперь... Ну, что она может сделать? Что она посоветует людям? Нахлынула черная сила и измывается, изводит здоровых и больных, старых и малых. И ни слезы, ни проклятья, ни слова... а-а, что такое слова?.. Иных убили, иных повесили, молодых куда-то угнали, школу испоганили, старух с детьми выгнали на холод, и они до темноты таились в овраге. Вот она привела их в баню. А дальше что? Ведь ночь кончится, дети запросят есть, немцы услышат их плач и будут издеваться над ними, пинать, бить...

Ветер как бы подпевал учительнице и раз-за-разом тряс ветлу.

Надо в лес. Куда же еще? Там, может быть, партизаны, укроют. Надо только до зари выбраться, чтоб немцы не увидели...

Учительница закрыла глаза, но стриженные головы учеников, косички учениц будто ворвались под веки. Ой, сколько их! — ведь двадцать пять лет учила. Каждый год человек по сорок приходило к ней новичков, а за все время у нее перебивало...

Она зашевелила губами и рассердилась: «Вот, не записывала, сколько обучила, подсчитывай теперь». Те, кого она учила в молодости, теперь уже отцы. А ведь, кроме детей, она учила и взрослых.

В памяти вставали мальчики, девочки, женщины, мужчины. Отчетливо рисовались ей только те, с кем она чаще встречалась, кто чем-либо отличился, писал ей или в письмах передавал поклоны. Это были трактористы, бригадиры, рабочие, инженеры, учителя, техники. Из бывших ее учеников вышли даже летчики, челюскинец, даже певец...

Все они работают, летают, сражаются, а она сидит вот в предбаннике и соевой пучит в темноту глаза. Учила всех быть стойкими, учила закалять себя, а сама не удосужилась хотя бы револьвер добыть... Все некогда было, а люди ставили ее в пример, грамотой наградили, даже в Крым на отдых посылали, и она не ехала туда, а летела на самолете.

Темнота предбанника как бы поглубела: учительнице представилась мреющая внизу земля, солнечный берег, синева моря, облитые зеленой кипенью горы. Ой, и все это тоже в плену, по солнечному берегу ходят канны, а она

скулит и чего-то ждет. Чего? Заглянет какой-нибудь выродок, выгонит всех на ветер или снаружи припрет дверь, обложит баню соломой, зажжет ее, а сам станет с автоматом против окна. Ведь было так в соседнем колхозе. И хуже было, и нечем защитить себя! Где же наука, где ученые? Неужели нельзя было придумать средства против таких зверей? Ведь в тысячах сел и деревень вот так...

Учительница вскрикнула и ущипнула себя: «Ну, истеричка, разнюнилась»: Москва тоже была под ударом, Ленинград в осаде... А теперь? Нет, немцу не сдобровать, но сколько он погубит... Мужа, может быть, уже нет в живых, а сын...

Учительница глубже засунула в рукава кацавейки руки и приказала себе: «Спи, на заре в лес надо...»

Чтоб заглушить скорбь и боль, она начала считать до ста, до двухсот, а дальше сбилась, как бы поплыла вместе со скамейкой по воздуху и, как бывало в юношеских снах, вдруг стала необыкновенно умной и сразу же придумала средство... Это какой-то необыкновенный состав. Лежит он в придуманном ею ящике. И она является с этим ящиком в Москву. И все слушают ее, все рады ей, все помогают ей сесть с этим ящиком в самолет. Вокруг нее садятся доверенные люди. Самолет отрывается от земли, и она мчится по воздуху, как мчалась когда-то в Крым, и глядит на мреющие внизу поля, селения...

— Вот он,— указывают ей доверенные люди и вдвигают в стенку самолета оконное стекло.

Она распахивает на боку своего ящика дверцу, и оттуда, через отверстие, из придуманного ею чудесного состава лучи устремляются на врага, на его мины, на его бомбы, снаряды, патроны, и все это взрывается, горит, гремит, летит и разит его же, врага.

— Ой, ребята!

— И вон там, и там,— указывают ей.

Она смеется, поворачивает ящик в бок, в другой, направляет лучи дальше, дальше, а ее дергают за локоть, ее отрывают от счастья, и она падает в темноту предбанника.

— Кто это? Кто здесь?

— Это я, Евгения Петровна.

— Кто?

— Тише. Я, Илья Лукашев, помните?

В памяти Евгении Петровны обозначилось лицо бывшего ученика — лет двадцать тому назад бегал в школу.

— Помню. А как ты узнал, что я здесь?

— В лесу всё знают. Дело к тебе есть, пойдем...

Лукашев вывел Евгению Петровну наружу и прислушался:

— Гсс, вот сюда...

Медлительный, огромный, он усадил Евгению Петровну на пень и, как бы нища кого-то, метнулся в сторону. Под ним шуршал бурьян, над баней шипела ветла, но Евгения Петровна не слышала шорохов и улыбалась: значит в лесу помнят о ней. Лукашев вырос сбоку, наклонился и шепнул:

— Никого будто, а все-таки давай разговаривать на ухо...

Он почти принал к ее уху:

— Мне нужна помощь, а помочь, кроме тебя, никому. согласишься?

— А смогу?

— Сможешь, но если боишься или еще что, то лучше не берись.

— Что ты, что ты! Лишь бы смогла, чего мне бояться?

— Тсс, ни-ни?

— Раз говорю, значит ни-ни. Ведь ты знаешь меня...

— Знаю, но видишь, какая темнота, а года у тебя уже не прежние и глаза не те. Значит, согласна? Видала, сколько у немца проклятой клади в ящиках? Вот... С утра он начнет перевозить ее, надо помешать... Меня с дружкой послали сюда, но его убили, на бегу он уронил где-то одно приспособление, а без пего я как без рук. И здесь еще не все готово, а за приспособлением надо идти в лес. Сбегаешь?

— Ну что ж, сбегаю...

Лукашев стиснул локоть Евгении Петровны. Губы его шелестели, как листва ветлы, и он настойчиво дознавался:

— Поняла? А?

— Поняла.

— Нет, ты постой...

Лукашев вновь и вновь шептал, куда идти, где остановиться, как подать голосом знак, что сказать. Затем взял Евгению Петровну под руку и помог встать.

— Вот, пошли...

— погоди, а если меня поймают или убьют, как ты узнаешь? Ведь...

— Про это выбрось мысли, выбрось,— сурово оборвал Евгению Петровну Лукашев.— Не

должны поймать, не должны убить, раз надо. Понимаешь? Иди сюда...

Лукашев свел Евгению Петровну на дно оврага.

— Вот, а отсюда прямо по тропе. Иди...

Он выпустил ее руку. Она пальцами ударилась о висевший на его боку ящик и заспешила. Ветер прыгал через овраг и заглушал шаги. Вот и речка. Евгения Петровна почти перелетела по хлипким кладкам,—обычно, даже днем, она переходила их медленно и обязательно с палкой.

За речкой ее обступил березник, за березником тропа заюлила по осиновому молодняку. Под ногами изредка похрустывало, и Евгения Петровна негодовала:

«Грибы! Вот даже грибы собирать некому, всех в ямы загнали».

В воображении встало лицо сына. «Вите-о-ок, где ты?» — сердцем по-когдашнему пропела она, будто сын был еще маленьким. А ветер все разгуливался, листва падала на голову, на плечи и шуршала под ногами.

«Надо сказать, чтоб Илье помощь послали»,— пронеслось в ее голове.

Тропа стала смутной: ой, не сбилась ли? По сторонам уже должны быть сосенки, а их нет. И прошла она, кажется, не три километра, а пять, а может быть, и больше... Нет, тропа вот, сейчас кончится осинник, вот...

— Стоп. Кто? — раздалось сбоку.

Евгения Петровна увидела перед собою человека, удивилась и, как учил Лукашев, стала жаловаться:

— Фу, постой, мне в пятку гвоздь впилился...

Человек гмыкнул и спросил так, как говорил Илья:

— Гвоздь, а не костыль?

Евгения Петровна обрадовалась и жарко спросила:

— Так это ты и есть?

— Я самый. Кто прислал?

— Тсс...— Она за локоть притянула к себе человека, шопотом повторила слова Ильи и добавила:— И помощь бы послал ему, один он, трудно...

— Некого послать, все заняты, а приспособление дам...— Человек порылся у себя в сумке.— Вот, неси да скажи, чтоб было сделано. Ждут, мол. Торопись. Одна нога тут, другая там.

Евгения Петровна прижала к груди жгут гибкого шнура и заспешила назад. В эсиннике ее охватил гнев: ой, какая она глупая! Ведь этот человек тоже. может быть, ее бывший ученик, и она могла бы сказать ему, что ей не вможу в деревне, что она должна быть здесь, в лесу, при деле...

Она стискивала маленькие крепкие руки и мысленно убеждала кого-то, что она ничего не боится, а стрелять, метать гранаты они, паотизаны, должны обучить ее, это их обязанность...

Она волновалась, и дорога назад прошла для нее почти незаметно. Вот и безезник, тропа посмутнела и уперлась в воду. На этот раз Евгения Петровна шла по кладкам медленно и вглядывалась в противоположный берег. Ветер помогал и мешал ей. Кажется, никого. Не оподать бы только, а то Лукашев подумает, будто

она струсила или пошла не той тропой, сбилась...

Она подкралась к бане. в бурьяне спрятала жгут и перевела дыхание. Над баней попрежнему дрожала ветла, с крыши слетали листья, качался бурьян, зыбилась темнота. Но вот... кто-то, кажется, идет. Евгения Петровна загнула дыхание и плечом прижалась к стене. Да, идет, а кто? Шуршит бурьян, а под кем он шуршит? Собака бежит или немец идет? Вот уж близко, вот...

Мелькающие в глазах Евгении Петровны пятна как бы сблизились и стали Лукашевым.

— Вернулась? Принесла?

— Принесла, вот здесь, на...

Илья ощупал жгут шнура и повеселел:

— Вот это гоже: и я успел, и ты успела.

От лица Лукашева как будто брызнуло светом, и Евгения Петровна зашептала в его лицо:

— Ты захвати нас в лес. Спрячем там старух с детьми, а я с вами буду, я все смогу, здесь мне одна мука...

— Тебе мука, а делу вот радость. Ведь без тебя я не управился бы...

Илья взял Евгению Петровну за руки, встряхнул их и шепнул:

— Ты утра не жди. Как кончится все, веди всех с ребятами в лес, куда я посылал, там, в сосенках, и жди...

— А что должно кончиться?..

— Услышишь. Как кончится, так и веди, только потише. Ну, увидимся.

Лукашев отступил и слился с темнотою. Евгения Петровна почувствовала, что ноги и юб-

ка ее мокры, бесшумно вошла в предбанник, нашарила скамейку и села. В тепле ее охватила сонливость, веки как бы вспухли. Она потрянула головой: нет, спать нельзя. Илья, может быть, еще что-нибудь понадобится. Но о чем он говорил? Что должно кончиться?

Ветла над баней притихла, в лопухах затахтели крупные дождины, ветер сник, а через минуту примолкли и лопухи. И вдруг где-то за школой как бы взвился на дыбы конь-великан и, громово ударяя копытами, загарцовал. Земля застонала под ним, из-под копыт его вылетали зарницы, падали на лес, а лес отбрасывал зарницы в овраг и на баню,—отсветы взрывов через окошко озаряли Евгению Петровну, и тень ее раз за разом возникала на стене...

Баня вздрагивала и шаталась. Старухи стояли и задыхались от страха. Евгения Петровна шикала на них и не могла оторваться от оконца. Ей уже ясно было, на что намекал Илья, и она ликовала. Это она помогла ему вздуть этот огонь, поднять эту бурю. Да, да. Промелькнувшее в полусне, казавшееся детским — видение сбылось: это она руками учеников, своими собственными руками трясет землю и огнем, громом сметает с нее нечисть...

ЛЮБКА

Ночной осенний ветер обрывал с яблонь листву и гнал ее под ноги старой Мавры. Она горбилась на завалинке и жалостно-певуче говорила:

— Уже идут, голубка моя, идут, дьяволы, будь они прокляты. Но ты не бойся, ты в хорошей защите. Да куда ты гонишь меня? Ну, пойду, пойду, буду в хате. Я такая уж старая, что мне ничего не страшно. Сейчас, вишенка, не гони, иду...

И она поплелась во двор. Из глубины села с ветром долетали звуки выстрелов, крики и лай. По темной хате тусклыми пятнами бродил отблеск далекого пожарища. Мавра села к столу, положила на ладонь локоть и прижала к вискам сухие пальцы.

Ветер подул сильнее, груша в саду качнулась, веткой царапнула стену хаты, и на глазах Мавры выступили слезы: эту грушу она сажала с мужем после свадьбы. Давно, ой, давно это было! Груша выросла и вот скрипит, будто просится в тепло и жалуется: столько годов радовала, мол, тебя белым цветом, давала тебе тень, рожала детям твоим груши, а в горький час стою одна под ветром в темноте.

— Да ты не одна там, не одна, чего ты? — прошептала Мавра и покачала головой.

Ведь ее, Мавры, жизнь сложилась тоже горько. Ой, как горько! Рожала, выхаживала детей, а где они? Старших, поди, и в живых уже нет, младший ушел в партизаны. А за младшим и старик ушел.

Ворота громко скрипнули. Какие-то люди гурьбой поднялись на крыльцо, чиркнули спичкой, прошли на чистую половину хаты, вернулись в сени, опять зачиркали спичкой и распахнули дверь. Мавра увидела за порогом шесть голов и шесть винтовок. Спичка погасла, но другая тут же вспыхнула и, разгораясь, подплыла к сухому, морщинистому лицу Мавры. Немцы оглядели ее и не то сердито, не то насмешливо заворчали. Один дернул ее за локоть и знаками объяснил, что им нужен свет.

Она махнула рукой в сторону печи. Солдат снял с гвоздя лампочку, другой зажег ее и, показывая на рот, залопотал:

— Матка, яйки, шало, хлеб, хлеб...

От немцев одуряюще пахло пóтом. Мавра сомкнула губы и в ответ трясла головою. Солдаты огляделись и штыками начали сбрасывать с полки и с печи вещи. Под кроватью нашли горшок с салом, а на полке три каравая хлеба. Это обрадовало их. Они с лампочкой ринулись через сени на чистую половину, оттуда в сарай и внесли в хату несколько арбузов, горшок соленых огурцов, решето сухих яблок и два кувшина молока.

Мавру они оттолкнули от стола. Чтоб не видеть, как они садятся на ее скамьи, режут

ее сало и хлеб, берут ее чашки и наливают в них ее молоко, она отвернулась и стала думать о груше, о молодости, о детях. Давнее шумело над нею, пока под окном не раздался сдавленный кашель. Немцы встрепенулись и побежали наружу, а Мавра вскинула к сердцу руки, до боли зажмурила глаза и стала просить бога отвести от нее беду. Но кашель под окном раздавался еще и еще.

«Ой, пропали мы, доченька, пропали, ягодка моя», — убито подумала Мавра.

Уши ее как бы вытянулись, и она жадно ловила ими шум ветра, голос груши и грохот сбрасываемых немцами досок, на которых она только что сидела на завалинке.

Огонек спички снаружи на миг позолотил окно, солдаты засмеялись, а Любка крикнула: — Пошли вон, собаки! Сама вылезу!

Немцы, должно быть, скрутили ей руки, и она коикнула громче:

— У-у, твари!

Мавра кинулась к двери, но немцы были уже в сенях и за косу вели Любку. Одной рукой она волокла за собой тулуп, а в другой несла узелок. Немцы толкнули ее на скамью, поднесли к ее лицу лампочку и одобрительно зашелкали языками.

Любка была в полотняной вышитой рубаше, волосы ее отливали синевой, глаза горели гневом. И вот это — ее гнев — забавляло солдат. Они смеялись, все наглее протягивали к ней руки, но в хату неожиданно вошли переводчик из русских, с пепельными усами, и голенастый немецкий капитан с индюшиным кадыком. Солдаты уныло отошли к столу и вытянулись. Пе-

реводчик склонился к Любке и по-немецки сказал капитану:

— Полюбуйтесь, какие красавицы водятся у нас. Они черномазы, правда, но это не порок.

Капитан поглядел на Любку и, будто его ослепило, замигал веками. Кадык его зашевелился. Он щелкнул пальцами и по-своему проговорил:

— Э, это девушка, хорошая девушка!

Переводчик засмеялся и угодливо полхватил:

— Вот видите, где мы поселим вас. Солдаты будут здесь, а вы на той половине, там чище, а девушке, как говорится, в солдатском сердце везде найдется место. Давайте поглядим ту половину. Прошу...

Капитан и переводчик исчезли в сених. Марфа в страхе глядела на Любку и, впервые за долгую жизнь, по-настоящему чувствовала себя виноватой и по-настоящему раскаивалась. Ну, зачем она перечила старику? Зачем называла его дурнем? Старик ведь хороший, работающий. А как упрашивал уходить из села! Но она кричала, что у нее больные ноги, что он рехнулся, что от немца ничего страшного не будет, и наперекор ему сама осталась в селе и удержала при себе Любку. Для Любки в завалинке логово сделала, застлала его соломой, дерюгой покрыла, подушку положила, от ветра все дыры заткнула, убрала вынутую из завалинки землю,— все сделала, забыла только, что Любка простудилась и часто кашляет. Вот напасть — носить на плечах старую дырявую голову! Последнее дитя сама положила волкам в зубы. Как после этого глянет она старику в глаза? А что скажет Андрею? Вот

как сберегла парню невесту! Вот уж поблагодарит и по старому обычаю поцелует руки. Да переломать эти руки, а голову оторвать да собакам на выгон,— вот что надо сделать!

Мавра задыхалась, но глаза ее были сухи, и она не сводила их с дочери. Та, казалось, ничего не видела и не слышала, пока на огороде не раздался вой. Жалоба собаки как бы разбудила ее, и она бесшумно скользнула за дверь. Солдат в сенях крикнул и винтовкой втокнул ее обратно. Солдаты за столом обидно засмеялись.

Любка упала на лавку, юбкой прикрыла поджатые ноги и заплакала. Мавре было горько, что она плачет в стороне от нее, и в то же время ее согревало чувство благодарности: Любка не бранит ее, свою старую глупую мать. Ой, как рвалась она с отцом и братом, как клялась, что все вынесет в лесу, ни на что не будет жаловаться, ни одной слезинки не уронит! А теперь вот...

Любка плачем заглушала голоса солдат и шум ветра. На крыльце вновь раздался шаг. Мавра вытерла уголки губ, перекрестилась и встала, а когда дверь распахнулась, рухнула на колени и головою припала к ногам переводчика:

— Не позорьте, Христом прошу, богом заклинаю. Я все буду делать для вас. И кормить буду, и обстирывать буду, только не губите, не позорьте Любы моей...

Мавра вскидывала худые руки, быстро выговаривала слова и, боясь, что это не те слова, лихорадочно подыскивала новые. Переводчик улыбнулся и сказал капитану:

— Видите, какой покорный наш народ...

Капитан таращил на Мавру глаза, а когда переводчик объяснил ему, чего она хочет, плечи его вскинулись и он фыркнул. Переводчик толкнул Мавру ногою:

— Ну, будет, старая, глупости плести. О чем думаешь? К тебе в хату счастье пришло, а ты голосишь...

Капитан потрещал Любку по плечу и взял ее за локоть. Мавре хотелось перехватить его руку. Она подалась вперед и похолодела: Любка не оттолкнула руки капитана, нет, она засмеялась и почти игриво сказала переводчику:

— Ой, да вы скажите ему, что я грязная, мне еще умыться надо.

Переводчик обрадованно перевел ее слова капитану, а Мавра вскочила с колен и всплеснула руками:

— Ой, Люба, что ты выговорила?

Любка шагнула к печке, зачерпнула из ведра воды и вложила корец в трясущуюся руку Мавры:

— Полейте мне, мама, я умоюсь, а то офицер скажет, что на Украине все девушки грязные.

— Люба, опомнись, ягодка! Ты не в своем уме...

— Нет, мама, я в своем уме, а вашей власти надо мною теперь уже нет. Вы все оберегали меня, я шагу без вас ступить не могла. Все хотели, чтоб я возле вас была, а вышло вот как... Поливайте, не жалейте, воды и колдце много.

Любка нашарила в печурке мыло и стара-

тесно терла шею, лицо. Переводчик и капитан, солдаты глядели на ее косу с бордовой лентой, на синю, на загорелые икры и ждали.

Любка сдернула с крючка полотенце, быстро вытерла руки, шею, а лицо терла долго-долго, будто оно было в чем-то липком. Потом вдруг глянула на всех из-за полотенца, но так глянула, что Мавре показалось, будто она глазами забирается ей в сердце.

— Люба, опомнись, ягодка моя...

Повесить полотенце Любка уже не смогла, — швырнула его на шесток и громко сказала:

— Вот, теперь я больше не заплачу. А вы, мама, не думайте обо мне плохо. Я все-таки была у вас хорошей дочкой. Я называла вас не на ты, а на вы, по-старинному, как вы хотели. Я была заодно с Андреем, помогала ему, а никуда не вступила из-за вас и в лес не ушла из-за вас. Не плачьте, лучше приголубьте меня...

Любка привлекла Мавру и положила на себя ее руки:

— Вот так, мама. Приголубьте при этих людях, как приголубливали, когда я была маленькой. Пускай видят, ничего. И поцелуйте меня в оба глаза и в щеки, как когда-то делали, и в лобик, и вот сюда, в душку. Вот так, а теперь садитесь...

Это были последние слова, сказанные ею обычным грудным голосом. Выговорив их, она оглядела солдат, как бы подождала, не заступятся ли они за нее, встrepенулась и чужим голосом бойко сказала капитану:

— Вот какая я теперь! Дочке б и жене твоей быть бы такими! Мама, не плачьте, не

надо. Может, другой кто несчастный, а не ваша Любка. Так и Андрею скажите, если свидеться придется. Так и скажите ему: твоя невеста, твоя Люба, не упала, мол, духом и до последней минуты была веселой...

Переводчик носком сапога коснулся ноги капитана. Тот притянул к себе Любку и взял ее под руку. Солдаты вытянули шеи. Переводчик придержал Мавру:

— Сиди, старая, куда ты? Ты свое отжила, сиди.

Капитан, Любка и переводчик скрылись за дверью. Один из солдат завистливо крикнул, остальные засмеялись, сели за стол и стали пить молоко и резать арбузы.

Мавра с плачем кинулась к двери, но солдат перехватил ее и толкнул на скамью. Голова ее стала пустой,— только сердце стучало в ладонь да нестерпимо першило в горле. Она ничего, даже голоса груши, не слышала,— тянулась к двери, ждала Любкиного плача, ее гневных криков, но на чистой половине было тихо.

За хатой шумел облетающий сад, груша царапала стену. Мавре то и дело чудилось, будто ничего этого нет, будто все это только снится ей. И вдруг на чистой половине что-то упало. Мавра крепче притиснула к груди руки и вскочила. В сенях кто-то затапал ногами и звонко крикнул:

— Пусти, собака!

Мавра, как во сне, распахнула дверь и занесла через порог ногу. Солдат из сеней прикладом опрокинул ее на пол, через порог толкнул на нее Любку и тревожно закричал. Сол-

даты схватили винтовки и побежали на его крик...

На чистой половине в глиняной кружке горела свеча. На полу, на сеннике, раскинув руки, неподвижно лежал капитан. Голова его свешивалась с подушки, широкая челюсть отвисла на красный кадык. Солдаты потрогали его и разделались: двое побежали на улицу, двое стали под окнами, остальные вытянулись в сенях и через раскрытые двери поглядывали в обе половины хаты.

Любка подняла с пола Мавру, усадила ее на скамью, гладила ее плечи и лихорадочно шептала:

— Ничего, мама, пусть знают, какие мы есть. Так и Андрею скажите. И еще скажите ему: ты, мол, хорошо обучил Любу гимнастике... Она пригодилась, мол, Любе в черный час, и она один-на-один голыми руками сделала проклятому немцу каюк. Так и скажите и поцелуйте его за меня, да не забудьте отдать рубаху, что я вышила. Пускай носит на память и будет счастливым...

— Да что ты, Любонька, что ты? Сама отдашь...

Через сени пробежал переводчик, потрогал труп капитана и кинулся к Любке:

— Это ты, тварь, сделала?! Знаешь, что тебя ждет теперь?!

Любка отодвинулась от матери и прыгнула к нему.

— А ты, Иуда, знаешь, что ждет тебя?! Думаешь, народ не знает, кто ты?!

Любка изогнулась, схватила переводчика за локоть и так дернула его, что он повернул-

ся к ней спиной. Руки ее взлетели к его шее, но солдат прикладом подкосил ее. Переводчик испуганно провел рукою по воротнику и остановил солдата:

— погоди, ты убьешь ее. Это партизанка и, кажется, опытная. Ее надо допросить. Тащите ее за мною.

Мавра обвилась вокруг Любки и разжала руки лишь после того, как ее старое сердце перестало биться.

ТРОЕ У ЩЕЛИ

Утром Аниска был с дедом в лесном овраге и видел там отца и старшего брата. Деду они обрадовались, а на него глядели хмуро, и он держался в стороне. Дед о чем-то шептался с ними, спорил, пока над оврагом не затрещали кусты. Отец и брат торопливо поцеловали Аниску и кинулись прочь, а дед строго шепнул ему:

— Ну, шш... Раз ты пионер, должен уметь молчать. Понял?

Когда отец и брат скрылись в рябиннике, дед тряхнул головою и повел Аниску из оврага. Они собирали опёнки, поздние подосиновики, рыжики, а на обратном пути ломали гроздья рябины, связывали их в пучки и вешали на палку.

У деревни их встретили Ирка и Пимок:

— Идите скорее! Бабка плачет чего-то!

Дома все было попрежнему, в печи мирно потрескивали дрова, но бабка шикнула на внучат, сердито увела деда в сени и долго шепталась с ним. Грибы и рябину она выставила в кладовку, быстро покормила всех и засуетилась. Ирка и Пимок не понимали, что с нею, и Аниска знающе обрывал их:

— Что да что? Увидите — и будете знать...

День уже потухал. Дед внес в избу широкую доску и плотницкие инструменты. Доску он сунул на лестницу в голбец¹, примерил ее к полке, на которой бабка держала черную посуду, и по метке отпилил края. В основании полки он коловоротом просверлил четыре дыры и выстрогал для них колышки. Затем подсадил на полку Аниску и стал учить его вставлять изнутри колышки так, чтобы они держали доску на ребре.

— Соображаешь? Ну, вложил? Доска не падает? Во-о, темно, а защита все-таки. Ну, вынимай колышки, слезай. Старуха, умащивай...

Бабка постлала на полке старый пиджак, рваную кофту, обноски шубы, в изголовье положила старые одеяла, а укрыться дала ветхий дедов армяк. Под изголовье она сунула кусок хлеба, три лепешки, в уголок поставила бутылку с водой и, на всякий случай, тазик.

— Ну, полезайте — и шш, а то, гляди, захватят еще...

Первыми на полку взобрались Ирка и Пимок, а за ними Аниска. Он изнутри, как учил дед, поставил на ребро доску, воткнул в дыры колышки, и они втроем отделились от повседневной, привычной жизни. Дед и бабка снаружи пробовали, не упадет ли доска, и шептались:

— Вы ж тихо, а то услышат. Ирка, Пимок, слушайте Аниску, он старший. И не кашляйте, не плачьте, да не ссорьтесь там...

На полке было темно, только над изголовьем через узенькую щель из избы прокрадывалась

¹ Г о л б е ц — подвал в избе, под печью.

полоска сумерек. За Пимка Аниска был спокоен и старательно учил Ирку:

— Захочешь есть — дерни меня за ухо, захочешь пить — дерни за нос, я сразу дам, а если еще чего захочешь, так ползи в уголок, к тазику. Вот он, пощупай. А если немоготу что будет, так ты лучше ущипни меня, как хочешь щипай, только не говори и не плачь. Слышишь? И кашлять не смей, а то и тебе, и мне, и Пимку будет худо. Пимок, слышь?

— Ты меня не учи, — обидчиво отшепнулся Пимок. — Я без тебя знаю, как надо...

Аниска недоверчиво хмыкнул. Они улеглись и слушали, как бабка и дед хлопочут в избе. Бабка подавала что-то с печки, с полка, вынимала из сундука, бросала к порогу какие-то узлы и шептала:

— И это в яму. А это брось на горище. Да не так берешь, экий ты. А это в коровник, а это...

Она даже покрикивала на деда, но тот, против обыкновения, не ворчал на нее, — носил, кряхтел, а когда все было переношено, шаги его как бы слились с протяжным скрипом наружной двери и в избе стало так тихо, что даже Аниска поежился. Щели уже не видно было.

Из голбца тянуло сыростью картофеля, огуречного рассола, соленых грибов и моченой брусники. Запахи вызывали воспоминания о том, как бабка шинковала капусту и угощала кочерыжками, но Аниске казалось, что это было не неделю тому назад, а давно, давно.

— Э, ничего не будет, — неожиданно просипел Пимок.

— Тсс, сказано, молчи. Ты лучше спи, и ты, Ирка, спи, и не бойтесь, я тут буду, только чтоб я больше не слышал вас. Вот так...

Аниска поправил на брате и сестренке армяк, потрогал их головы и с досадой стал думать, что брат и сестра сейчас заснут, а он будет лежать при них и в деревне все будет делаться без него; другие ребята, небось, помогают, а его, Аниску, завтра поднимут насмех: тоже, скажут, пионер,— в голбце с маленькими, как мыш, тайлся. На этом сознание Аниски стало тускнеть и роиться виденными в лесу мухоморами, густой рябиной, на которую он не смог взобраться, винтовками, которые были за плечами отца и брата.

Встрепенулся он от стука, шорканья ног, чужого говора, криков, вздохов и причитаний,— звуки клубом катились из сеней в темную избу. Через щель на полку вбежала золотая полоска света, метнулась к ногам и как бы разбудила Пимка и Ирку. Аниска испуганно провел рукою по их губам,— тсс, — и они приникли глазами к щели.

На столе горела вставленная в стакан с солью свеча. За столом сидели два немца в похожих на разбитые горшки кожаных шляпах. В стороне навтыжку стояли два солдата в шапках пирожками. Перед столом на коленях стояла какая-то женщина, а рядом с нею горбились бабка в кацавейке и дед в разорванной на груди рубахе. От печи к столу вышел человек в кожаной куртке. На нем болтался невиданный Аниской огромный револьвер с толстой деревянной ложей. Человек поправил его на поясе, сказал женщине:

— Я буду с вами справедливым и вежливым, но вы скажите нам прямо: где сын и старший внук этого старика? — и указал на деда.

— Да откуда я знаю? — удивилась женщина, и Аниска по голосу узнал в ней свою учительницу.

— Не знаете? А зачем вы оделись в крестьянское? Вот в эти лапти? Куда вы крались? Я понимаю, вы интеллигентка, вам неловко, но говорите, говорите, нельзя же так...

— А что я могу сказать? Переоделась я от страха, хотела спрятаться.

— Где вы хотели спрятаться? Ведь вы шли к лесу. Где?

— В лесу и хотела спрятаться.

— Лжешь! — не выдержал человек в кожаной куртке. — Мы все знаем. Ты живешь в школе, через тебя партизаны получали все, к тебе в школу мужики носили для них хлеб, мясо! Ну?

Аниска крепко сжал губы и глядел через щель так, будто сам стоял перед немцами на коленях. Он боялся, что учительница скажет, что, да, и он, Аниска, и дед, и многие приносили к ней узлы, — школа стоит на отлете. тропа от нее идет прямо к лесу. Но учительница повторяла, что она ничего не знает, что она женщина, что война не ее дело...

Рука человека в кожаной куртке приподнялась и взлетела. Аниска втянул в плечи голову и перестал сознавать, что сидит на полке не один. Человек в кожаной куртке ударил учительницу раз, два, три, затем схватил ее за руки и начал заламывать их, потом схватил за

голосы и бил лбом или носом о доски пола и пинал ее в бок, пока она не закричала:

— Бейте! Звери! Палачи!..

Крики учительницы обрадовали Аниску, и он зашевелил губами: так, так, так! Затем его охватила слабость, к горлу подступила тошнота, звуки выпали из ушей, а свет в щели расплылся и исчез. Только в голове что-то отступало: так, так, так.

Из горла тошнота как бы опустилась ниже. Аниска перевел дыхание и приник к щели. Учительница уже молчала и была неподвижной. Сидевшие за столом немцы как бы лаяли на свечу, а дед и бабка попрежнему стояли рядом с учительницей и глядели в пол.

Человек в кожаной куртке от свечи закурил черную, похожую на морковь, сигару и крикнул деду:

— Ты поведешь!

— Да бог с вами. Я ведь старый, я уже слепой...

— Ну, ну! В лесу все тропы знаешь! Где сегодня был? Где мальчишка, с которым рябину ломал? Ну, где?

Аниска закусил губу и виском прижался к стене.

— Где внуки?

— Ушли, испугались, сидят где-нибудь. Они маленькие...

— Маленькие? Одевайся и веди!

— Да нет, не поведу я. Кого мне вести?

Человек в кожаной куртке поднял кулак. В тот же миг на плечо Аниски легла рука Пимка и больно ущипнула его. Аниска вспомнил, что он на полке не один, и стремительно

положил на брата и на сестру руку. Ирка прижимала к лицу руки и мелко дрожала.

— Шшш.

Дед уже извивался на полу, ойкал и взвизгивал. Человек в кожаной куртке скверно ругался и все бил его. Бабка с плачем протягивала руки, падала на колени, вскакивала и опять падала. Деда били так долго, что голова Аниски как бы взбухла и в ней что-то перекатывалось и колело в затылок, в темя. Мгновениями он уже не понимал, почему Ирка и Пимок не плачут, а сам все гладил их и про себя твердил, что учительница молодец, и дед молодец, и Пимок настоящий мальчишка, только вот Ирка дрожит, она маленькая, она...

Крики и стоны оборвались. Бабка упала на деда, головою и руками уткнулась ему в спину и тонко завывала. Человек в кожаной куртке крикнул ей:

— Веди ты, ведьма! — и откинул для удара ногу.

Аниска одной рукой ущипнул себя, а другую как бы вжал в Иркину спину и съежился: сейчас бабка завопит, Ирка заплачет, немцы ринутся к голбцу, выволокут их к столу и будут бить, а его, Аниску, кроме того, заставят вести их в лес, но он, пусть убивают его, не поведет их, он...

Тяжелое шорканье, стук двери и внезапная тишина привели Аниску в ужас, и он взметнулся на локте. Бабки, деда и учительницы на полу уже не было. И немцев у свечи не было. На столе лежал большой опаленный поросенок. Солдат в шапочке пирожком ловко счищал с

него загар, а потом начал потрошить его. Другой солдат растапливал печь.

Во рту Аниски было сухо и горько, будто он наелся зеленой калины. Рука его все еще лежала на брате, на сестре и покачивала их, пока они не заснули. Вот так, вот и хорошо, вот... При мысли, что брат или сестра заговорят во сне, его начало лихорадить, а солдаты, как назло, делали все молча, — только дрова потрескивали в печи да нож ерзал по столу.

Чтоб зубы не стучали, Аниска сжимал челюсти и не то думал, не то шептал: как же так? Ведь деда и бабки нет. Разве можно это так оставить? Ведь... надо бежать в лес и рассказать все партизанам или... Уй, а вдруг дед запер голбец на задвижку? Нет, кажется, не запирает. Овраг в лесу он найдет даже ночью, но разве отец и брат в овраге? Они где-то далеко. А где?

В голове Аниски поднялся звон, свет свечи мутил глаза. Он по очереди глядел то левым, то правым глазом. Солдат уже снял с поросенка сало, самого поросенка разрезал на куски, сложил в самый большой бабкин чугунок, сверху бросил несколько луковиц, нутряное сало, посолил и закрыл сковородою.

Больше Аниска не мог глядеть в щель. Веки его сомкнулись, и он по звукам определял, что делается в избе. Солдат, топивший печь, кочергою выгреб на шесток углей, окружил ими чугунок, и в чугуне зашипело, затем начало хлопотать, урчать. Но что это? Аниска приник к щели.

Солдат сорвал с окон занавески и накрыл ими стол. А другой ширял штыком в стены,

шарил по полкам, в шкафу, в ящике стола, со свечей вышел в сени и рылся в кладовой. Вернувшись, он открыл голбец, осветил лестницу и, касаясь рукою доски, за которой лежал похолодевший Аниска, спустился вниз. На его крик к голбцу подошел другой солдат, и тот, что был внизу, стал что-то подавать ему. На столе в кринках появились соленые грибы, огурцы, моченая брусника, творог. Солдаты по очереди нюхали все, пробовали, прищелкивали языками и вдруг отпрянули к печке...

С улицы донеслись голоса, крыльцо загудело, и в избу вошли те, что допрашивали учительницу, и тот, в кожаной куртке. Аниска вздохнул: сонное дыхание брата и сестры утонуло в шуме голосов. Он следил за движениями немцев и пристально вглядывался в того, который бил учительницу, деда и бабуку.

Они сели за стол. Солдаты положили перед ними ножи, хлеб поставили, тарелки, обшитые сукном плоские бутылки и чугуны. Из-под сковороды вырвалось облако пара и в избе, даже на полке, запахло жареной свининой. Немцы зачмокали, приложились к бутылкам и начали шумно, жадно, как бы обгоняя друг друга, есть, веселеть, говорить.

Солдаты были где-то за печкой. После крика одного из офицеров они выбежали наружу и вернулись один с дровами, другой с огромным ворохом соломы. Дрова они бросили в печь, а солому разложили на дедову и бабкину кровать, на отцову кровать, на лавки у стола. Дрова в печи ярко вспыхнули. Немцы погасили огарок и раздевались при свете печного пламени.

Солдат ошупал окна, запер дверь, кочергю сдвинул в печи горящие дрова и, чтоб на пол не упали искры, поставил на край шестка заслонку. В избе стало темнее, на полу и под лавками пятнами забегал красный свет.

Вот заскрипели кровати, зашуршала солома, потом раздалось сопенье, густой храп, храп потоньше. Аниска мысленно как бы склеивал звуки и, убедившись, что немцы заснули, стал на колени и осторожно вынул колышки. Прислушиваясь, он беззвучно повалил на себя доску и кое-как перенес ее через брата и сестру к стене. Подождав немного, он спустился на лестницу, потянул на себя дверь и выглянул в избу. Из-за заслонки в лицо пахло золотым теплом, а в памяти всплыло, как однажды он мучился от угара. Он чуть не вслух выругал себя за то, что не вспомнил об этом на полке, и перестал сознавать, кто он, сколько ему лет,— силы его утроились. Он толкнул брата:

— Пим, тсс, слезай, бери кофту, иди за мною, шшш, стой там...

Пимок прошел в сени и замер за дверью в темноте. Аниска перетаскал к нему чуть ли не все, что было на полке, провел его в коровник, постлал ему на омете соломы, укрыл его одеялами и шепнул:

— Лежи и молчи, я скоро.

Боязнь, что Ирка упадет с полки и плачем разбудит немцев, будто по воздуху перенесла его в сени. Постояв у двери, он боязливо шагнул в трепетные пятна багрового света из печи и юркнул к голбцу. Ирку он брал со страхом, но она не проснулась. Он выбрался с нею

в сени, а когда она была уже подле Пимка, уцелевший где-то петух криком как бы подстегнул его: ему показалось, что он пропускает самое дорогое время.

Он скатился с омета, сразу же вошел в избу, жадно глянул за заслонку и перевел дыхание: в печи все шло так, как надо, и немцы спали так, как надо.

Он лихорадочно прикрыл дверь в голбец, вскочил на табурет и обеими вьюшками тихо закрыл трубу. Из печи его опажнуло горьким палящим чадом и толкнуло к порогу.

Он медленно закрыл за собою дверь и заторопился. Захваченный узелок с хлебом мешал ему. Он оставил его в коровнике, выбрался наружу и забегал по двору. Деда, бабки и учительницы нигде не было, а ворота вдруг скрипнули и пошатнулись. Аниска с ужасом пригнулся за телегу и стал на колени.

С улицы во двор вошел солдат с винтовкой, через окно заглянул в избу и, прислушиваясь, пошагал обратно. Аниска взглядом проводил его за ворота, поднялся с колен и юркнул в коровник. Взобравшись на омет, он засунул под одеяла ноги, освободил армяк, сидя как бы огородил соломой себя, брата и сестру от того, что их ждало, натянул на голову армяк и затих. В его сознании кружились солдат с винтовкой, лица немцев, звездное небо, синие огоньки в печи, а над ним, за крышей, плыла холодная осенняя ночь, и ему хотелось, чтобы она не кончалась до тех пор, пока не придут брат и отец с партизанами.

Ирку и Пимка разбудили струйки солнечного света, говор и чей-то крик:

— Угорели! Все, насмерть!

Ирка глянула на спящего Аниску, за Пимком выбралась из-под одеяла, и они припали к просвету в стене. Посреди двора стояли немцы с винтовками и, вытягивая шеи, хмуро глядели на крыльцо: из избы выносили что-то тяжелое. Ирка и Пимок вкось увидели плывущие по воздуху чьи-то ноги в башмаках. Пимок вдруг заволновался, толкнул Ирку и шепнул:

— Гляди, гляди, вот он...

На руках солдат качался тот, что мучил учительницу, деда и бабу. Кожаной куртки на нем не было, руки болтались, взбухшее лицо напоминало виденную Пимком на колхозной елке страшную маску.

ОРКЕСТР

Раненый командир скончался, когда полк уже отступал, и его вынесли из лазарета без гроба. Во дворе он лег на плечи товарищей и, как бы поддерживая согнутой рукою орден, двинулся в последний рейс.

Капельмейстер Никита Кравчук, заглатывая слезы, взмахнул руками. Медные трубы вскрикнули, осенний ветер смешал их голоса с гулом веток, с шумом листвы и помчал в степной простор.

Пристань командира была недалеко, в саду. Там над ним склонилось знамя и раздался салют. Голоса труб сплелись и отбросили шум ветра. Под их раскаты командир уходил в могилу. Товарищи будто укрывали его прощальными взглядами, роняли горсти земли и торопились.

Могильный холм поднимался все выше и выше. Оркестр смолк и последним двинулся от могилы, — полк был уже далеко. Кравчук вглядывался в даль улицы и торопил товарищей. В поле они вышли, когда закат был уже красным, — трубы вспыхнули и засверкали.

Вот таким, пылающим, похожим на огненный горн, и увидел оркестр водитель грузовой ма-

шины и баянист Артем Середа. Его охватили тревога, боль и печаль: враг может перехватить оркестр и будет понуждать его тешить своих солдат, Никита Кравчук и его товарищи не подчинятся, и смерть навсегда оторвет их от полка, от театра, от демонстраций, стадиона, слетов, трудовых походов,— э-э, мало ли когда нужна музыка!

Сквозь печаль Артем ощутил досаду, что не может взять оркестр на балеринку, как называл он свою машину: полуторатонка была заполнена ранеными. Но все же он остановил ее и крикнул Кравчуку:

— Держись шоссе! Я выхвачу вас!

Закат на трубах становился дымно-красным. Артем махнул музыкантам рукою и дал машине ход. Сидевший рядом с ним забинтованный лейтенант сказал:

— Здесь будет бой, и вы не успеете.

Это не понравилось Артему, и он глухо крикнул:

— Не успеть всякий сумеет — надо успеть!

На горизонте взрывы бомб вскинули к небу облака дыма, сумерки стали гуще, и машина как бы наматывала на себя их пыльную паутину. В глазах Артема плавали горящие закатом медные трубы, зал театра, стадион, колхозное поле... Нет, черт возьми, не для немцев растили в городке оркестр...

Раненых Артем сдавал в густой темноте. Из-за роши паровозы с погашенными огнями подвозили людей. Артем разыскал начальника и сказал ему о своей тревоге за оркестр. Тот кивнул на огни немецких прожекторов:

— Видишь, ощупывают дорогу. Я боюсь потерять тебя, но... попробуй, только торопись и гляди в оба...

Машина двинулась назад. Защитное стекло звенело, край кожуха тарахтел, и даль казалась Артему почти беззвучной,— дребезг заглушал даже выстрелы. Холодеющий ветер шумел об опасности, но Артем не слышал этого.

К шоссе подбежала деревушка и, будто подхваченная метлою, побежала назад. Артем вынул из-под сиденья саперный топорик, затормозил машину и кинулся к березам. Ветки трепыхались и падали к его ногам. Он кое-как приколотил их к бортам машины, а одну, самую раскидистую, прибил так, чтобы она прикрывала будку.

Спрыгнув на землю, он попятился и довольно крикнул: в темноте машина казалась стайкой березок.

— Покатим, балеринка, в осеннем наряде, будто на праздник...

Со стороны городка на шоссе упал ослепительный столб света. Артем затормозил машину. Свет задержался на ней и полетел дальше.

— Ага, балеринка, наш наряд действует, — обрадовался Артем, трогая рычаги.

Сзади что-то застонало, и через машину метнулись блики тусклого кровавистого света. Артем высунул в окно голову и глянул назад: в небе, над облаками взрыва, висела сброшенная с самолета ослепительная ракета, и свет ее озарял степь. На шоссе раздалось дробное татуканье мотоцикла,— звуки его как бы прострачивали шум полутонки и стремительно

нарастали. Артем вгляделся в летящую на встречу черную точку и ощупал револьвер.

Вот точка превратилась в пятно, пятно замерло и раскололось на две части — на низенькую и высокую. Высокая часть стала еще выше: это был человек, — он вскинул руку и как бы прыгнул на середину шоссе.

— Немец, балеринка, не знает, что против мановения его руки у нас с тобою есть цирковой номерок, — пригибаясь, пробормотал Артем и повел машину так, чтобы человеку на шоссе казалось, будто она хочет проскочить мимо него.

На миг его охватило беспокойство: а вдруг на шоссе стоит свой? — но вдалеке взвился свет прожектора и на его фоне четко выступил силуэт немца с автоматом.

— Сейчас мы ему покажем наш номерок, — шепнул Артем, резко направляя на немца машину, и затормозил: — Готов!

Раздавленный немец лежал за колесами. Артем сдернул с него сумку и автомат. Мотоцикл он скатил в кусты, надломил над ним ветку и помчался дальше.

Ракета сзади уже потухала, но ее последние вспышки вырвали из темноты рой бегущих по степи точек. Маленькие и большие, они мчались по кустам, сворачивали на шоссе, а за ними летели все новые и новые. Артем свернул за поросль дубков, остановил машину, вспомнил слова раненого лейтенанта («Похоже, я не успел») и стал готовиться к схватке.

Автомат уже лежал на сгибе руки, а в голове пылало:

«Отрезали, но нас, балеринка, взять будет не легко: мы с тобою достаточно поколесили, и ты будешь теперь моей баррикадой».

Точки превращались в мотоциклы, в автоплатформы с орудиями, в грузовики с солдатами и неслись мимо, мимо...

«Не заметили», — обрадовался Артем, и дыхание его стало ровнее. Сзади немцы и впереди немцы, впереди их больше, сзади меньше, — только и всего. Надо степью прорываться назад, — иного пути нет.

Шоссе стало пустым, а в воображении Артема встали облитые пламенем зари сверкающие медные трубы и лицо влюбленного в музыку Никиты Кравчука. Нет, чорт побери! Прорываться к своим надо, да, но почему он будет прорываться один?

Артем впрыгнул в машину, вывел ее из дубков и вдоль шоссе помчался к городку.

Далекie вспышки прожекторов слепили глаза, и вглядываться в даль, следить за смутной полоской шоссе было трудно.

Вдруг — у-у, проклятые! — впереди упали столбы света и заметались по шоссе, по кустам.

От напряжения у Артема выступили слезы, он протер глаза и оживился: свет прожектора залучился в кустах, стал искриться и вспыхивать. В груди Артема потеплело, и он торопливо направил машину на вспышки. Вог уже близко, уже рядом; Артем остановил машину, толкнул дверцу и крикнул:

— Никита!

Дубки и шиповник зашевелились, и к машине выбежал Никита Кравчук, а за ним

трубы, барабан. Столбы света прынули на них, и медь труб засверкала. Артему было ясно, что на них вот-вот упадет снаряд, и он лихорадочно поворачивал машину назад. О том, что немцы промчались по шоссе, он молчал, — зачем говорить? Ему хотелось, чтоб оркестр не знал грозящей опасности и, если придется, умер, как умирают в полете птицы.

— Садись! — закричал он. — И не прекословить! Сели?! Стойте на ногах или на коленях! Берите трубы, играйте, играйте так, будто с полком идете по Красной площади перед Сталиным!..

Машина тронулась и, набирая скорость, выбежала из полос света. Там, где она стояла, разорвался снаряд, другой, но трубы уже вскинули к небу голоса и гремели, стонали, гребовали, звали все живое в последний бой, — оркестр мчался по степи на крыльях бессмертного зова и ничего не слышал, не видел даже взмахивающего рукою Никиты Кравчука, — звезды и огни далеких взрывов плющились в его глазах.

Он вылетел на боковую дорогу и примчался к полку, когда тот шел в наступление, — гремящий зов труб влился в гул закипающего боя, крепил шаги, будил желание петь о самом дорогом и самом крепком на земле...

ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД

Гейзе и Курт захотят забыть русскую хату, следы сломанного плетня, загаженный сад и склонившийся над сараем осокорь. Может быть, они будут смыкать при этом веки и трясти головами, чтобы это видение выпало из их глаз. Может быть, им кто-нибудь скажет, что пепелище этой хаты давно затянул бурьян, а от яблонь и осокоря остались только остовы,— все равно! Где бы они ни были,—на родине или в чужих краях,—как только им захочется утолить голод или жажду, приласкать ребенка, провести рукою по чьему-либо плечу, причесать свои волосы или застегнуть на себе рубаху — перед ними встанут хата с крыльцом, сад, осокорь, сарай.

Впервые они увидели это осенью 1941 года, после трехдневного боя. Разрывы снарядов, бомб и мин, треск пулеметов и автоматов будто гнались за ними и толкали в спины: вы еще живы, торопитесь! И они торопились.

Деревня, куда их послали на передышку, славилась медом и садами, но они не знали этого. Они не заметили даже того, что под яблонями сѣреют не надгробные плиты, а покинутые пчелами разбитые ульи...

У хат и в хатах, на огородах и в садах, везде были солдаты,— одни спали, другие утлаляли голод, третьи писали письма. Тишина была такой, что Гейзе и Курт будто оглохли и глядели на все тупо и подавленно.

На памятную хату им указал капрал. Они у колодца сбросили с себя автоматы, мешки и ведро за ведром лили друг на друга воду. Вода звенела и разлеталась на брызги, а в ушах все еще всплывали лязг и грохот боя, и сердце томительно ныло.

Умывшись, они оглядели двор и пошли к сараю, на который в раздумьи склонялся облитый солнцем раскидистый осокорь. В сарае лежал ворох золотой соломы, и Гейзе обрадовался ему:

— Вот это хорошо!

— Да, отлично, — шопотом согласился Курт, и они пошли в хату.

Еда не радовала их, и они ели лениво, как бы прислушиваясь к чему-то: усталость смяла в них не только мысли о том, что в России куда страшнее, чем они предполагали, — усталость смяла в них даже то, что попрежнему и по-настоящему занимало их в дороге из Франции: невзгоды и смерть в России, верили они, легко преодолимы, надо только смелее уничтожать русских солдат, а мирных жителей загонять, всеми мерами сгибать, а добро их отпавлять домой,— даже это заглохло в них, и все, что они видели, казалось, существовало лишь для того, чтобы мешать им уйти в сарай, лечь на солому и заснуть.

Они были злы, хотя знали, что от сна их

отделяет только коротенький и в общем пустой приказ офицера: перед сном осмотреть автоматы, если понадобится, вычистить их и явиться к нему, к офицеру, на осмотр. Вокруг болота заросли, оттуда могут нагрянуть русские, — автоматы должны быть в порядке!

Покончив с едой, Гейзе и Курт вышли на крыльцо и сели на приступки. Под окнами умирали затоптанные цветы. Плетня уже не было, и двор выходил прямо на поперечную горбатую улицу. Дальним концом улица спускалась к невидной речке, и передние хаты глядели на Гейзе и Курта окнами, а дальние — стрехами, крышами, трубами.

У Гейзе автомат оказался почти чистым, и он справился с ним быстро, а Курт обнаружил на своем автомате ржавчину и раздраженно принялся разбирать его.

— Ты поскорее, — проговорил Гейзе, окидывая взглядом макушки далеких ветел.

Пронизанный солнцем воздух пьянил его и туманил глаза.

Из какой-то хаты вырвались причитания женщины и крики солдат.

— Не могут змее глотку заткнуть, — проворчал Гейзе и, чтоб отогнать дрему, вслух стал вспоминать, как усмирял русских женщин: — Я умею с ними обращаться. Их надо сразу за глотку брать. Они брыкаются, а я...

— А что, если наши автоматы от частой стрельбы перестали подавать в цель так, как надо? — неожиданно спросил Курт. — В скверную историю можно попасть...

Гейзе досадливо крякнул и вскинул свой автомат на прицел:

— Ты что же думаешь, нас еще на пристрелку погонят?

В его усталой голове было пусто, — томила только мысль, что он должен ждать Курта и итти с ним к офицеру, — но когда он прицелился, по лицу его прошла тень удивления и он вспыхнул: что за дьявол? Ему представилось, будто он из блиндажа глядит в сторону русских: над дулом автомата качнулись головы, затем выпрыгнули плечи, груди. Гейзе тряхнул головою и фыркнул.

На горб улицы, взявшись за руки, взбрыкивая, бежали четыре девочки и два мальчика; третий мальчик был позади и размахивал кнутом. Гейзе было ясно, что дети у речки сделали из листьев рогоза сбрую, вожжи и изображали теперь шестерку лошадей; один из мальчиков был за кучера, — он шевелил зелеными вожжами и размахивал кнутом:

— Но, но, шевелись!..

Пестрота детских рубах и юбочнок сплелась в сознании Гейзе с мыслью о том, что его автомат, может быть, не в порядке, что офицер погонит его на пристрелку и заставит разбирать автомат. Он злобно крякнул и напряжился; автомат зарычал в его руках, и, подкошенные пулями, дети рухнули на дорогу. Гейзе стукнул ложей автомата о приступку и проворчал:

— Чепуха, отлично строчит, — видал?

Курт глянул на дорогу и удивился:

— Это ты их? А я думал, ты в воздух...

У дворов появились солдаты, из соседней каты выбежали офицер и капрал:

— Кто стрелял?

Гейзе с усилием встал и вытянулся:

— Это я, Вилли Гейзе. Автоматы после боев не точно подают в цель, вот я и попробовал. Отлично бьет.

Офицер выругал Гейзе за беспокойство, осмотрел его автомат, полусобранный автомат Курта и вслед за капралом двинулся к встревоженным солдатам. Гейзе опустил на приступку, прошипел:

— Все хрипит, свинья с нашивками,— и стал сворачивать папиросу.

— А ловко ты их, — пробормотал Курт. — Хм, сразу семерых дьяволят уложил...

— Чорт с ними. Здесь скверные дети: партизанам помогают...

Гейзе затянулся дымом папиросы и, хмелея, стал глядеть на горб улицы: из-за хат высккивали женщины, кидались на середину улицы, хватали с дороги детей и уносили во дворы. По лицу Гейзе проплыла усмешка.

Когда был унесен последний ребенок, он нетерпеливо глянул на Курта и насторожился. Из дворов выходили женщины и друг за другом медленно шли вдоль улицы. Вот одна из них остановилась, другие поровнялись с нею, сложили на груди руки и стали глядеть на Гейзе и Курта.

— Скорее возись, — прошипел Гейзе.

— Сейчас... Вот, готово...

Курт провел по автомату рукою, поднял голову, увидел женщин, взгляделся в их лица и торопливо сказал:

— Видишь, какие ведьмы. Ни одной молодой не видно. Придется спрятанных искать,

Здесь девок прячут в подвалах, досками закладывают, землей присыпают...

Гейзе вскочил и устрашающе вскинул автомат:

— Смотри, как удирать будут!

Но женщины не шевельнулись и, как показалось Курту, стали выше. Губы их были плотно сжаты, но Курту казалось, что они кричат, и он, чтоб унять тревогу, тоже вскочил:

— Надо проучить их!

Они выпятили груди и с автоматами наперевес двинулись от крыльца. Из соседней хаты за ними наблюдали офицер, капрал и фельдшер. Курт шагал молча, а Гейзе задыхался от ругани, и с губ его летела слюна. Женщина, которая была впереди других, взгляделась в него, взмахнула рукою и пошла прочь:

— Ой, да это же чистые дьяволы, будь они прокляты...

Офицер, капрал и фельдшер громко засмеялись. Гейзе и Курт вернулись к крыльцу, взяли вещевые мешки и направились к сараю. Пока они шли двором, их грело солнце, огород дышал на них запахом умирающей зелени. Сарай как бы отстранил от них солнце и опанул ароматом соломы и покоем.

Осокорь был в оцепенении до самого заката. Вечерняя прохлада заиграла его вершиной, а на ночном ветру он закачался, зашумел, застонал. С неба стремительно начали падать звезды, и матерям чудилось, будто в вышине носятся души убитых детей и вместе с осокорем и ветлами кричат от боли.

Этого звездопада Гейзе и Курт тоже не забудут. О, они бежали под падающими звез-

дами, они выли перед офицером, капралом и фельдшером.

Они были по пояс голыми, по локти безрукими и не могли ни стоять, ни говорить. Офицер пятился от них, боясь испачкаться кровью, и не своим голосом кричал:

— Кто вас? Кто?! Где ваши руки?

Гейзе и Курт наперебой хрипло выли:

— Они, они... сонных связали нас веревками, в рот тряпки и в поле, в поле...

— Кто, кто, дьявол вас возьми?!

— Они, женщины... Они увели нас и топорами руки нам...

— Не реветь! На перевязку! Ну-у...

Фельдшер втокнул Гейзе и Курта в хату. Ветер подхватил с крыльца вой и умчал его под звенящее гневом величие звездопада.

ХАТА ФОМЫ

Немцев было пятеро. Грязные и обожженные морозом, они пинками загнали в угол Фому, его старуху с маленьким правнуком и сорвали с них тулупы. Сразу же зарезали последних гусей и так ели, что на них страшно было глядеть. И все чесались, бесстыдно шарили руками по телу, страхась холода и людей, ко-со поглядывали на окна и тут же в хате га-дили.

Старуха закрыла руками лицо и разрыда-лась. Это обозлило немцев, и они вытолкали ее с правнуком на мороз. Фома кинулся защитить ее, но они оттолкнули его от двери. Он хотел дать старухе что-нибудь надеть, но немцы еще злее оттолкнули его. Он успел только крикнуть старухе, чтобы она бежала к брату Максиму,— вот и все.

Самого Фому немцы заставляли выносить ушат со своими пакостями, таскать из колодца воду, из сарая солому, топить печь, чистить картошку, стряпать, обваривать вшивое белье. Он старался не глядеть на них, а ночью дер-гал себя за волосы и препирался с богом:

— Ну, на что ты дал мне глаза? Чтоб я глядел на это? Да возьми ты мои глаза назад, на, возьми. Э-эх, устроил свет! Волчью запад-

ню — вот что ты устроил. Жили мы, а разве плохо жили? Так нет же. Или все с чортом воюешь? Рая и пекла не поделите?

Фома до боли наматывал на пальцы бороду и цепенел: один внук — летчик, другой — партизан, внучка — инженер, а он, старый пес, опять с разговорами к богу лезет. Изредка он забывался, и ему сквозь дрему слышалось, будто во дворе под ногами старухи скрипит, а под ножонками правнука знакомо поет снег, будто правнук хочет первым взбежать на крыльцо, а в печи будто вздыхает допревающая каша с тыквой, в плошке потрескивают выжарки, а в кувшине с молоком лопаются пенка. Синева в окне отпугнула эти звуки.

Фома глянул на сидевшего у двери немца с ружьем, встал и весь день через окно и с крыльца оглядывал улицу, соседние дворы и сад. Соседи таились где-то в углах, а в саду и на огороде гуляли пустота и холод.

На исходе дня Фома вышел за соломой для печи, но закат был таким, что рука его невольно поднялась ко лбу и в глазах блеснуло изумление: ой, как дивно! Он глазами окинул даль и усомнился, что в его хате висит смрад, а под смрадом на соломе, на его ряднах, под его и старухиным тулупами, валяются злые черти, — вот какой был закат!

На краю земли стояли похожие на горы облака, за эти горы уходило солнце, и края их так сверкали, словно были оторочены огнистыми камнями. А между облаков стоял бирюзовый простор, и волны тумана, гуляя по этому простору, то искрились серебром, то краснели, то, вспыхивая, неслись к облакам, гасли и

опять вспыхивали. Фома выдохнул в этот свет давившую сердце мерзость, запустил в солому руки, прикоснулся к чему-то ледяному, поднял охапку и отшатнулся: перед ним в искрах мякины, в соломинках сидела с правнуком на руках сизая, окоченелая старуха.

«Бедные, значит, вы ночью ходили по двору?..»

Фома, словно в печь, бросил на свет заката охапку, со скрежетом положил на нее правнука, старуху и выпрямился. Руки его так и остались растопыренными, а глаза невольно потянулись к хате. Старуха и правнук улыбались, будто им снился сон. Фома схватил в сарае лопату и, увязая в снегу, пошел к яме, где летом старуха держала для утят воду.

«Хоть тут пока спрячу, хоть тут, а то...»

Яма не до краев была занесена снегом и напоминала большую позолоченную миску. Фома своей тенью перерезал позолоту, согнулся и начал выбрасывать из ямы снег. На крыльцо выбежал немец и сердито закричал, но Фома не обернулся к нему. Тогда вышли остальные немцы, приблизились к старухе с правнуком и, ежась, заговорили о чем-то.

Фома застлал яму соломой, на солому положил старуху, стал вкладывать ей в руки правнука, но окоченелые локти ее хрустнули. Фома взмахнул руками, принес из сарая два ведра песку и оторопел перед ямой: да как же он будет сыпать песок на свою старуху, на правнука? Ведь песок набьется в рот, в нос, в уши.

«Боже мой, за что ты дал мне это?»

Он сбегал в хату за рядниной, прикрыл ею

старуху с правнуком и начал засыпать их песком. Вот скрылись ноги, плечи, головы, вот... глаза их больше не увидят этих смердящих зверей. Мысль, что собаки и зверьки могут нарушить покой старухи и правнука, погнала его к колодцу. Он водою полил вокруг старухи снег, насыпал над нею высокий снежный холм и опустился перед ним на колени.

«Вот, старая, остался я один. Так мне и надо, раз отдал тебя зверям в лапы. Зря не уехали к внучке. Вот как горько, ой, как горько вышло при конце жизни! Вместо счастья нашу землю гремучие змеи обвили...»

Немцы следили за ним через окно. Он кланялся белой могиле, плакал и обещал покойникам весною похоронить их как следует: он обсадит их могилу вишнями, в изголовье посадит мальвы, — а пока им придется лежать вот так, в песке, под снегом: земля тверда, как железо, аспиды не пускают его со двора и к нему не пускают никого...

Колени его одубели, но он никак не мог высказать всего белой могиле. Слова были, но не давались ему. Он водил рукою по груди, как бы помогая словам вырваться оттуда. В бессилии потряс головою и пошел в хату.

Один из немцев что-то крикнул ему и указал на идущий изо рта пар. Фома поплелся за соломой, затопил печь и искоса следил, как немцы ели и укладывались. Ночью ему вновь слышались шаги старухи и правнука. Он вскидывал голову и взглядом накалывался на сидевшего у порога немца с ружьем, а на рассвете продышал на стекле лед и глядел на белую могилу.

Из оцепенения его вывел стук в дверь — вошли офицер и капрал. Тот, что дежурил ночью, что-то быстро отговорил, а четверо выстроились и выпятили груди. Офицер размахивал руками и кричал, а они пучили на него глаза и были бессловесными и жалкими. Это удивило Фому: что это за люди? Чужое горе не трогает их, при людях гадят, над стариком измываются, а противного, похожего на полуоскоробленную рыбу, офицера боятся. А ведь у каждого, небось, есть жена или невеста, мать, сестра, дети. Наверное, есть, а вот старуху с правнуком живьем заморозили. И ему придется ждать весны, рыть могилу, вторично хоронить старуху с правнуком. Да, придется, как же иначе? Ой, а если до весны вернутся свои, что он скажет им? Топил, мол, печь, старался не глядеть, когда в хату приводили женщин, зажимал уши и убегал в хлев, выносил мерзотину. А-а, что он может сказать?

«Эй, смерть, где ты шляешься? Забыла к хате дорогу?»

Ха, звать смерть легко! А кто похоронит без него старуху с правнуком? Кто его самого похоронит? Или валяться, пока не расклюют и не разорвут вороны и собаки? Нет уж, тогда уж лучше...

Мысли Фомы путались, и ему начинало казаться, что его трясет лихорадка, что страшное только мерещится ему. Вот проведет он по глазам пальцами, и хата станет чистой, с печки зазвенит голос правнука, а старуха скажет:

— Фома, а пошел бы ты на колхозный двор да поглядел, как там кони: ведь весна не за горами, а ты у нас инспектор по коням...

Фома тянулся рукою к глазам, тер их, тряс головою, дергал себя за бороду, вглядывался в немцев и как бы не узнавал их. Немцы косились на него и наконец зарычали, чтоб он не глядел на них. То, как горели при этом их глаза, ужаснуло Фому: им ничего не стоит выгнать его во двор, за ворота, и он пойдет по селу, а село в руках таких же, как они, и никто из них не впустит его в хату. Ведь старуха не сразу зарылась с правнуком в солому, ведь она, бедная, ходила по хатам. Так будет и с ним, и его некому будет даже снегом прикрыть.

«Э-э, нет, я так не хочу,— возмутился он.— Кто там на небе, бог пли чорт, или внуки правду говорят, что там никого нет, а только я так не хочу. Я честно зарабатывал хлеб, и люди плохого не видели от меня, а если мою жизнь под ноги кидают, то я буду кусаться. Э, Фоме не двадцать, а без малого семьдесят годов, Фома знает, как и что...»

Что крылось под этой угрозой, Фома сразу вряд ли смог бы сказать, но он чувствовал, что надеяться больше не на что. Он перестал глядеть на немцев, перестал разговаривать с богом, исправно топил печь, прибирал хату и все твердил, что себя он в обиду не даст, э, нет, он не таковский, он... Слова его вдруг сникали, и лицо вспыхивало от стыда. Он переставал понимать, где он, что с ним, он ли это.

Как бы обороняясь от боли и скорби, он припоминал, где зарыты зерно, одежда, посуда, но перед ним почему-то вставали не зерно и посуда, а висевшая в хлеву старая коса, шкворень, давно не употреблявшийся безмен. Он как бы брал их в руки, взвешивал и припоминал,

где и когда купил или сделал их, как они служили ему, как испортились...

А среди ночи его вдруг обступили внуки, правнуки, старухи, колхозники, древние приятели, и он стал каяться, обличать себя. Дежурный немец носком ударил его в бок и злобно захрипел. И раз и два было так. Грудь Фомы переполнялась болью и злобой на свое бессиле.

Утром, когда пришел капрал, ему показалось, что пятерых солдат скоро угонят на фронт, и он вновь стал думать о висевшей в хлеву косе, о безмене... До конца дня бессильно мучился и постанывал.

Немцы уже готовились к ужину. Один из них пальцем щелкнул себя по воротнику и хикнул. Увидев это, Фома застонал и зажмурился: перед его глазами встал золотой праздничный день и гостивший у него внук летчик. Внук был во всем белом и в ожидании подводы стоял среди двора: в селе только что узнали о переходе немцами границы. А вишни были в самом разгаре налива,— сад, как девушка в мантии, блистал розовыми ягодами. Внук глянул на сад и сказал:

— Дел, вишен-то, вишен сколько спзет! Жалко, что их нельзя сберечь до конца войны. Хотя, погоди, я вчера видел в лавке водку. Я, ты знаешь, не очень люблю ее, но сделай по-помосму...

Внук обнял Фому, повел его к веселому вишенику и зашептал:

Как поспеют вишни, набросай в четверть самых сильных, залей их водкой, закопай в землю и не трогай и никому не говори, пока я не

вернусь с войны. Мы все съедемся к тебе, выпьем за тебя, за всю нашу родину...

Свет мой ласковый, как он сказал это! А как погладил по спине, какие у него были глаза! Все вишни сияли розовыми боками, все веточки кланялись, листочки кивали. Фома ощутил в руках прохладу и влагу, будто вишни брызгали ему на пальцы соком. Лопатки его приподнялись, будто их, как тогда, грело солнце, а перед глазами уже плыло другое: он с правнуком на плече ходит по саду, — правнук хочет быть тоже высоким, — и они срывают самые спелые вишни, одну срывает он, другую — правнук, одну бросает в четверть он, другую — правнук. Идут и разговаривают, разговаривают и не могут остановиться. Четверть уже полна, они идут к хате и отсыпают вишни из четверти в миску, отсыпают и едят их; и старуха тут же, руки и щеки правнука в вишневом соке, на рубашонке огнятся вишневые капельки, а голос его все звенит, звенит, и старуха улыбается; а над вишнями вьются пчелы, солнце сеет сквозь зелень искры, перед окнами ветерок покачивает мальвы, мохнатые шмели гудят, на крыльцо по ниткам радугой тянутся цветы. Ах, о чем они говорили тогда перед четвертью с вишнями, но все равно, — пусть!

Фома шагнул к столу, щелкнул себя пальцем по шее, подмигнул, — есть, мол, водка, — взял огарок и поманил немцев из хаты. Те удивились, но пошли. В погребице он открыл ляду и полез в погреб. Следом за ним спустились двое.

При свете огарка он начал рыть в погребе землю. Немцы нетерпеливо переступали с ноги на ногу, а когда из земли показалось запечатан-

ное сливным клеем и завязанное холстиной горло четверти, запрыгали и весело закричали вверх. Там засмеялись.

Фома вынул из земли четверть и пошел из погреба. Стоявшие в погребице немцы отобрали у него четверть, в хате вытерли ее соломой, подняли на свет и залюбовались цветом водки.

— Не водка, а кровь,— вот что будете пить.

В голосе Фомы прозвучала угроза. Он старыми ножницами вынул из горла четверти пробку и махнул рукою, чтоб подставляли посуду, но немцы подставили только одну жестянку. Когда он наполнил ее, они знаками показали, чтоб он выпил сам, и воззрились в него.

— Ага, боитесь? Веселая у вас на земле жизнь! — еще грознее зарокотал голос Фомы.

Горечь, аромат вишен и солнечные воспоминания перехватили ему дыхание. Он выпил, шумно поставил на стол жестянку и чуть не расплакался:

— Ух, солнце родное, ветер тихий! Деду-у, отец, вы ездили в Крым за солью, вы учили меня танцевать гопака и песни петь,— гляньте на срам глупого Фомы. Для того ли я зарывал четверть, чтоб пить с этими вот...

Немцы не сводили с него глаз. Он знал, чего ждут они, и поочередно оглядел их. Они, подрагивая, вдыхали шедший от него запах водки, нетерпеливо сдвинули жестянки и наполнили их душистой настойкой.

Фома вынул из печи горшок с жареным и поставил его на стол. Немцы опорожнили жестянки и, потирая руки, стали есть. Его, Фому, они будто не видели, его будто и в хате не было.

«Эх, да разве ж это люди?» — с омерзением подумал он и вышел наружу.

Белая могила уже не укоряла его. На ней догорали последние блики холодного заката. Фома без шапки постоял перед нею и начал таскать солому в погреб, к крыльцу, а оттуда в сени и в хату.

Четверть была уже пустой. Немцы в котелок вытряхивали из нее вишни, обсасывали косточки и разгрызали их. В смраде веяло запахом вишневых зерен.

Фома щедро подбросил немцам в постели соломы, снаружи закрыл ставни, в дыры продел запоры от них, а изнутри в запоры вставил шипы. Немцы были уже пьяны и валялись в сон...

Фома по пояс прикрыл их бывшей в хате соломой, перенес на шесток огарок, а недоеденную гусятину сложил в тряпку и засунул ее в карман свитки.

— Ну, спите...

Солому, что была в сенях, он втокнул в хату и так взбил ее, что она холмом встала перед немцами. После этого он подпоясался, под свитку на грудь засунул последний каравай испеченного старухой хлеба, осторожно привалил солому к горящему на шестке огарку, а когда она вспыхнула, шагнул в сени. Запирая из сеней дверь, он слышал, как огонь разъяряется и потрескивает.

Во дворе он кивнул белой могиле, изнутри заперся в погребице и, смахнув слезы, через дыру стал глядеть наружу. Хата уже курилась и гудела. Вот что-то загремело в ней, закричало, что-то лопнуло, ставни начали наливать

кровью, сквозь кровь прорвался дым, из дыма на мороз змейками хлынуло пламя, лизнуло стреху, и во дворе стало светло, снег на крышах порозовел.

С улицы с гвалтом вбежали немцы, но Фома не шевельнулся. Огонь прыгнул через печь или через сени на чердак, крыша запылала, затрещала.

«Вот, сгнули, будь вы трижды прокляты...»

Фома полез в погреб и, погружаясь в солому, закрыл за собой ляду.

...Хате было без малого сто лет, и сгорела она, как уверял потом Фома, оттого, что старые стены ее не выдержали ужаса и жгучей ненависти.

СУД ПРИ ЛУНЕ

Пушечный гул вкатывался в лес и по стволам взлетал кверху. На макушках сосен ломались комья снега и, увлекая за собой старую хвою, листики коры, пылью оседали в лунный свет. Партизан как бы уклонялся от пыли, перебежал от сосны к сосне и шептал:

— Вот змея, вот змея...

Впереди, по тропе, шел горбатый человек. Он на ходу вонзал в снег знакомую партизану толстую, с железным наконечником, палку, выдерживал ее и скашивал назад глаза.

— Вот галина, а я его Луккой, соседом называл, лес возить помогал, на-пару работал с ним...

У дорожки горбатый юркнул за сосну, рукавом смахнул с пенька снег и сел. Партизан приник к сосенке и съежился. Горбатый в коленях высек огня и, прикрывая ладонью трубку, долго курил.

«Поджитаешь? Ну, что ж, и мы подождем».

Когда трубка погасла, горбатый встал, глянул на небо, заколебался и опять сел.

«У-у, неужто чует меня?» — забеспокоился партизан и глубже втянул в воротник голову.

Оба не шевелились. — горбатый был похож на пень, а партизан — на ствол сломанного дерева.

Пушечный гул не мешал им,—каждому казалось, что мимо него и птица не пролетит. Первым шевельнулся горбатый. Он расстегнул на груди тулуп, в полоске лунного света блеснул крышкой часов и двинулся вдоль дороги.

«Вот, я так и знал».

Партизан подождал немного, свернул в чашу и побежал горбатуму наперерез.

Когда между стволами мигнула белая стена сторожки, он прислонил к дереву винтовку, вывалился в сугробе и досадливо фыркнул: снег на тулупе не держался, а медлить нельзя было.—горбатый мог вот-вот показаться.

Партизан подполз к крыльцу, вскарабкался на него и скользнул за дверь. В сторожке стоял белесый полумрак и пахло стылой печью. Партизан оглядел полати, прикладом ширнул в запечье и в сенях припал к забоянному железной решеткой оконцу. Ждать пришлось не долго. Горбатый свернул к сторожке и пробормотал:

— Хоть тут передохну, холодно, спасу нет, фу-у...

Увидев следы на снегу, он пошел медленнее и коротко заиграл голосом:

— Ку-ку...

«О, вон как, ты под птицу обучен».

Партизан скрипнул зубами и наугад, но тоже тихо, отозвался:

— Ку-ку...

Ступеньки скрипнули, рукавица горбатого шоркнула по двери:

— Ох, господи, спаси меня...

— Спасу, как же,—раздалось из-за двери, и в полоске света взблеснуло ложе винтовки.

Горбатый охнул и, покачнувшись, провалился в темноту. В себя он пришел в сенях, на полу; ноги и руки его были связаны.

— Ну, рад спасению? — услышал он шопот. — Кому куковал?

— Кто это? Кто меня?

— Кому куковал?

— Матвейка, сдается? Сосед, братику, неуж-го ты?

— Рыжий фриц тебе братик. Кому куковал? Говори!

— Да, Матвейка, братику, я шел в Курган, я к своим собрался...

— А озирался зачем? Кому подавал голос? Говори, или я тебя в момент...

Горбатый увидел над собою приклад винтовки и часто замигал веками:

— Да ты что, Матвейка? Сосед, что ты? Бог с тобою...

— Нет уж, пускай бог будет не со мною, а с тобою. Говори...

Со стороны дороги неожиданно донеслось:

— Ку-ку...

Горбатый вскинул голову, но партизан рукою стиснул ему губы, зубами стянул со свободной руки перчатку, туго затолкал ее горбатуму в рот, подал голос:

— Ку-ку,— и припал к оконцу.

Вдоль дороги шел человек в коротком тулупе. На груди его висел автомат. Против сторожки он остановился и, ногами попадая в следы горбатого, как бы побежал за своей тенью:

— Ку-ку...

Партизан откликнулся ему в кулак и отпрянул от оконца: немец... а вдруг не один? Стре-

лять нельзя. Партизан отставил винтовку, поднял палку горбатого, как бы вгоняя в нее всю свою силу, вскинул плечи и приподнял голову. Крыльцо скрипнуло. Немец дулом автомата толкнул дверь, прохрипел:

— Махэ ауф (открой),— и шагнул в сени.

Партизан изо всей силы вонзил ему в шею острие палки и схватил за горло. Автомат ударился о дверь; немец захрипел и, покачиваясь, осел книзу. Партизан обыскал его, через оконце выглянул наружу, выдернул изо рта горбатого перчатку и встряхнул его.

— Ну, говори: немец один должен притти или не один? Скорее, ну...

Горбатый пошевелил головою и, глотая воздух, прохрипел:

— Откуда я знаю... Должно, один... всегда был один...

— Значит, тебе ходить сюда не впервой? Ты что ж. или обучен по-ихнему говорить?

— Нет, куда мне...

— А зачем шел к нему?

— Я передать должен...

— Что передать?

— Бумажку какую-то.

— Где она?

— Матвейка, а меня теперь убьют, а?

— Это не твое дело. Где бумажка? Живо, ну, где?

— В кисте, в табаке, в мякиш закатана. Вот гут, в кармане...

Партизан вытащил кистет, в полосе света из-за двери нашел мякиш, ощупал его и развязал горбату ногу:

— Вставай, раз такое дело, идем.

— Куда ты меня?

— Куда надо. Шевелись.

— Матвейка, мы ж с тобою соседи, мы так жили...

— Не поминай про житье, иди... И не проси. Видал, как немец наших живьем сжигал? Или слепой был? Сбегай на тот свет к нашим покойникам, может, они пожалеют, а меня не проси. Вот сюда, сюда...

Связанные руки приподнимали лопатки горбатого, и спина его противно покачивалась.

— Во-во, дюжей огорбатеЛ, Искарйёт проклятый.

Мысль об оставленных в сених сторожки мертвом немце и дубовой палке томил партизана: «Надо было убрать». Он вслушивался в звуки шагов, в стлавшийся по лесу далекий гул, торопил горбатого и не мог подавить удивления и ярости: пойми после этого человека — при царе в батраках мыкался, советская власть лесу ему дала, земли дала, в колхоз ввела, доверялась ему, а он вот что делает...

— Давно этим занимаешься? — спросил он.

Горбатый замедлил шаги и сбивчиво зашептал:

— Ты ж мой лучший сосед, я с уважением к тебе. Мы ж так жили, а теперь что вышло? Конец всему, а?

— Тсс, не подъезжай, не разжалобишь.

— Да нет, я не подъезжаю, — ты за сына мстишь...

— Врешь, я за всех мщу. Кончай канючить и отвечай, а не хочешь отвечать, пеняй на себя.

— Я отвечу, ты только не думай, что я по своей воле...

— Заставили, значит? Научили ребеночка малого...

— А ты думаешь... И про года молчи, про года не надо... Припечет — и старого заставят.

— Кто? Не вилай. Ну, кто тебя заставил?

— А наши. Перед первым уходом от нас немцев Юшка Памфилов завел меня к себе, а у него Карп Сизов. Поговорили для отвода глаз, а потом и навалились: тебе, говорят, все верят, тебя нигде не остановят, сбегай, куда пошлем, а не согласен, скажем, где у тебя красноармеец спрятан. Немцы тебя с детьми и с бабой на тот свет...

— Так. Ну, а ты?

— А что мне делать? Со страху согласился сходить. Сходил один раз, а они и совсем связали меня...

Партизану стало жарко, и он спросил:

— Не воешь? У-ух. пошел на такое, не извернулся. Мог бы нам шепнуть... Дурак, а может, ты не дурак, а шкура, чорт тебя знает. Нет у меня веры...

Горбатый съежился и убито сказал:

— Грешен, а ты все-таки верь мне. Ты бога не признаешь, а я признаю и хоть чем поклянусь... Разве я ради себя? У меня ж четверо маленьких, три старших, и красноармейца жалко было. Слышь, ты не позорь меня, я в лес уйду, я с партизанами буду, лишь бы дети...

— Не хоронись за детей, срамно...

— Да ведь как же. Или, думаешь, не понимаю, не мучился? Совсем седым стал. Я, вот видишь, гляди, Матвейка...— Горбатый рухнул на колени и вскинул к луне бородатое лицо.— Всем, что ни есть, клянусь. Пусть я и дети про-

кляты будем, пусть сгинем, пусть нас земля выбросит, пусть господь самой лютой казни предаст...

— Брось, не господь, а народ казнить тебя будет. Не скули, давай про дело. Согласен ты свои и Юшкины дела раскрыть так, чтоб все до нитки, вчистую чтоб? — вот в чем клянись. Можешь?

— Могу, только вот перекреститься нельзя мне, руки связаны...

— Ну, чего захотел. Клянись голосом, да не тяни.

Горбатый клялся, что скажет всю правду, и плакал. Партизан глядел на него, но, казалось, видел не лицо, а паром вылетающие изо рта слова. Как бы убедившись в чем-то, он передернул плечами и решительно положил на горбатого руку:

— Вставай, идем назад.

— Куда? — испугался тот. — Там же лес.

— Без тебя знаю, что лес. Ты помни клятву и не скули. Перед паскудами хвостом вилял, а получил жизнь и раскис...

Горбатый вздрогнул:

— Постой. Какую жизнь?

— Очень простую: за измену расстреливают, а ты можешь еще принести пользу...

— Потом, значит, застрелишь?

— Теперь ты не в моей власти, другие будут решать. Может, и помилуют, я почем знаю...

— Оставят, значит, на мученье или как?

— А ты что, награждения ждал за это? Старший сын где? В армии. Вот сладко будет парню узнать про твою иудину слюну. А дети что скажут? Он их, видишь, спасал! А на что

им такое спасение? Думаешь, рады будут? Ты-то радовался бы?..

Горбатый перестал всхлипывать и тоскливо ойкнул:

— Ой, чего я наделал! Для чего я сказал тебе про все? Ты меня застрелил бы — и конец, а теперь к народу поведешь. Матвейка, не надо...

— Вот пакостник! — возмущился партизан. — Ты помни клятву. Совершь — детям еще гаже будет. Ты хоть напоследок очнись. Народ в горе, земля вся голосит, а ты — изменять ей, перед смертью врать на пей...

— Я тебе всю правду, я тебе ни слова кривды...

— Так чего ж ты хлипаешь? Стой.

Партизан остановился и вынул из кармана ситцевый платок:

— Давай голову.

Горбатый в ужасе вытянул шею. Партизан завязал ему глаза и взял под руку:

— Не трать слов и не дрожи. Вот так, пошли...

Горбатый оступался, и ему казалось, что партизан ведет его через холмы и долины. Ему было душно, сердце томил страх, связанные руки млели. Когда партизан свистнул, ему показалось, будто его окунают в воду. Сквозь гул крови издалека в уши прорвалось шорканье лыж. Снег под лыжами громко хрустнул. Горбатый боялся, что ему откроют глаза, и дрожал. Слов Матвея он не слышал, но взгляды подошедших чувствовал на себе и старался сдерживать дрожь. Справа кто-то с ненавистью шепнул:

— Вот через кого гады узнавали все. У-уу, сволочь!

— Ладно, — вмешался другой. — Матвей и ты, идите обратно в сторожку, уберите там все, может, еще кукушка залетит. Старайтесь живьем взять. А вы—в село, аккуратно возьмите Юшку с Сизовым и к озеру их. Матвей, дай этот мякиш. Ну, идите, да поаккуратней. Если нарветесь на что, Юшку и Сизова в живых не оставлять...

Лыжи рванули снег, ветки со свистом шоркнули по тулупам. Чья-то рука повернула горбатого и повела. И опять ему казалось, будто его ведут холмами, долинами. На дороге на его плечо легла рука и потянулась к затылку. Он в ужасе замотал головою:

— Не надо открывать мне глаз, не надо, Матвейка, я с завязанными буду, я ничего не утаю, мне так легче, не открывайте глаз, не надо...

— Ишь, когда застыдился...

Платок упал с глаз. Горбатый поник головою и скорее почувствовал, чем увидел, что следом идут двое, что Матвея среди них нет. Он был подавлен, убито просил бога поскорее взять его душу. Он рад был тому, что партизаны идут сюда, ни разу не обернулся к ним, а когда его остановили, плечом припал к сосне и глядел в землю до тех пор, пока к нему не подвели предателей:

— Гляди: эти?

Он вскинул глаза и твердо ответил:

— Они, оба они.

— Ну, Памфилов, выкладывай все начистоту да поскорее, нам некогда...

Предатели клялись, что они ни в чем не виноваты, что они больше всех пострадали от немцев, что горбатый сводит с ними старые счета, что они за своих покойных отцов не ответчики. Горбатый немигающе глядел на них и кидал:

— Врут! Из немецких рук старины ждали!.. Оять врут. Не раз, а шесть раз посылали меня к немцам. Юшка по-ихнему понимает, а меня страхом за детей в петлю завел.

Слова горбатого звучали гневно, покоряюще. Когда предателей увели, он порывался упасть главному партизану в ноги — просить, чтоб он скрыл все от его детей, сказать, что ему теперь место здесь, в лесу, с партизанами, — но стыд мешал ему сделать это, и он смятенно забормотал:

— А я?.. Как же мне?.. Как же я теперь?

— Как... ты?! — гневно прервал его партизан. — Будь я на твоём месте, а ты на моём, ты поверил бы мне? Ну, поверил бы?.. Ну, по совести отвечай...

Горбатый как бы прислушался к самому себе и покачал головою:

— Вряд ли поверил бы...

— Спасибо, что не соврал. Мы тоже не верим тебе.

Горбатый пошел медленно, тень шла за ним ещё медленнее. Выстрел качнул ее, и она прыгнула в снег, под рухнувшее тело...

ДЕЛО С ЯЩИКОМ

Эрик Швамме очнулся на голой земле. В ноябре везде холодно, но здесь — брр! — земля насквозь прохватывала его ледяным дыханием. И ни звука, ни зги, только черный холод. Подумать, как попал он в эту черноту, ему помещал страх: а вдруг он ранен и смерть разбудила его для последних мучений? Он шевельнул пальцами и обрадовался: руки и ноги целы. Он перевернулся со спины на живот, кашлянул и прислушался. Ни шороха. Он локтями уперся в шершавую землю и встал...

— Э-э, нет!

Перед ним вырос кто-то большой и толкнул его книзу.

— Ты стой, сиди или лежи, но ни с места...

Рука у говорившего была тяжелой, и Швамме с трудом удержался на ногах. Слов он не понимал, но видел, что перед ним стоит великан: на уровне его глаз возвышалось плечо, за плечом торчала винтовка. Это подняло в Швамме злобу: русский не боится его, русский даже винтовки не снимает перед ним.

«Обезоружил, вот и не боится», — подумал он и разомкнул челюсти:

Мне надо согреться, я замерз, мне очень, очень холодно...

Последнее слово долго не давалось ему — каль-каль-каль, — а когда он наконец выговорил его: «кальт», — сбоку неожиданно зазвенел молодой голос:

— Дядя Ефим, он говорит, что ему холодно, очень, говорит, холодно...

Швамме напряг зрение и увидел рядом с великаном мальчика. Ему стало ясно, что великан по-немецки не понимает, и он обратился к мальчику:

— Слушай, я замерзаю, я коченею...

Великан выслушал мальчика и сказал:

— А ты, Ваня, скажи ему, что так и должно быть. Скажи ему: ты, мол, еще вчера выгонял наших людей из жилья, им тоже было холодно, но они не скулили...

Слова великана мальчик переводил сбивчиво. Дослушать его у Швамме нехватило сил, и он шагнул к тому, что в темноте казалось ему соломой:

— Ты, мальчик, подожди, я посижу там, в соломе, я замерзаю...

Великан вновь положил на него руку:

— погоди! Ваня, втолкуй ему: если он не будет повиноваться, ему будет солоно...

Выслушав мальчика, Швамме фыркнул и стал потирать руки и стучать ногами о землю. На нем были стального цвета куртка, под нею — отнятая у русской женщины вязаная кофта и шелковая рубаша. Под смятой бескозыркой уши закрывал женский берет. От холодных и казавшихся ледяными красноармейских башмаков

ноги стягивала пара обмоток, а от колен топорщились русские стеганые штаны. Из-под рукавов серели перчатки. И все же Швамме было нестерпимо холодно.

Он приседал, взмахивал руками и стал различать предметы. Стоял он на лесной поляне, под дубом. То, что он сначала принял за солому, оказалось ворохом листвы. Даль поляны сливалась с полем или лугом. Швамме вгляделся туда, и перед ним, как во сне, встало то, что он когда-то видел на картинке: за полем или лугом поднимался большой красный месяц. На картинке, кроме месяца, был еще бородатый, почти голый человек, — он держал на колене руку с какими-то дудочками и глядел перед собою зеленовато-золотыми глазами. На картинке месяц был красным, но выражал то же, что и зеленовато-золотые глаза человека, — казалось, и месяц, и человек знали то, чего, думал тогда Швамме, в действительности нет. А теперь оказалось, что оно есть, но оно было страшнее, чем на картинке: вдали всходит месяц, а рядом стоит бородатый великан с винтовкой за плечом, и глаза его горят так же, как месяц, жутко и таинственно.

Великан и мальчик глядели на него молча. Их спокойствие вызывало у Швамме страх, растерянность и раздражение. Чего им надо? Чего они ждут?

Ему уже было ясно, что он заснул в селе на дежурстве и был схвачен сонным. При этом его, вероятно, оглушили и принесли или привезли на эту поляну. Его замутило от тоски и нестерпимого желания закурить.

Он потянулся к карману и отдернул руку:

среди деревьев раздался явно птичий свист. Чорт поймет эту Россию: по ночам в холод свистят какие-то птицы! Великан, как бы подманная птица, отсвистнулся, птицы засвистали ближе, раздался треск веток, и на поляну вышло несколько мужчин и женщина.

— Ну, как, отошел немчик?

— Отошел, все в листву просился, уж очень, говорит, холодно у нас...

— Веди его...

Великан указал Швамме в глубину деревьев и стронул его с места. Швамме хотелось сопротивляться и кричать, что он не пойдет в лес, что они могут расстреливать его здесь. Однако он не посмел сделать этого.

Ветки хватали его за рукава, за бескозырку.

В голове клубились мысли о том, что его, вероятно, застрелят в спину, что в Хемниц он не вернется, что близкие не узнают даже, где он погиб. Жена выйдет замуж за другого! В воображении его встало лицо жены, и он пытался припомнить тех, за кого она может выйти замуж...

Шаги сзади путали его мысли и вызывали дрожь: вот-вот грянет выстрел: Сам он не раз убивал пленных в спину.

Великан на ходу изредка обращался к деревьям с какими-то словами, и, странно, деревья отзывались ему. Швамме косился, видел подле деревьев очертания людей и приходил в ярость: русские ходят в темноте по лесам, всюду подстерегают...

Впереди выплыло озеро. Первый ледок золотел в полосах поднявшегося месяца и казался теплым. Откуда-то пахло запахом печеного

картофеля, помета, из-за деревьев выдвинулся холм, раздалось фыркание, и Швамме увидел лошадей и партизан с винтовками.

— Привели?

— Да, только ни к чему это,— хмуро сказал великан. — Пользы делу не будет. Ну, а раз дали людям обещание, давайте попробуем. Ну-ка, иди...

Великан приподнял ветки приваленной к холму сосны, и Швамме очутился в темноте. Чтоб он не упал, великан поддержал его и ввел в теплую землянку. На столе горела плошка и лежали горка луку и несколько караваев хлеба. С присыпанных сухими листьями ветвей приподнялись люди в тулупах, в зипунах. Тепло, табачный дым и свет оглушили Швамме. Он порывисто снял перчатки, протер глаза, наклонился к человеку в тулупе:

— Рус!

И, указав на папиросу, сунул пальцы в сложенные трубочкой губы.

Человек молча подал ему окурочок.

— Ну, начинаем, а то заря скоро, — сказал великан. — Неси, Марья, показывай...

Женщина взяла в углу землянки ящик и поставила его на стол. Швамме поперхнулся табачным дымом, и ноги его пронизала дрожь: он был взбешен и не знал, как держаться: на столе стоял его собственный ящик. Великан обратился к мальчику:

— Ванюшка, спроси его: это его ящик? Он писал на нем этот адрес?

Швамме притворился, будто не понимает мальчика, и стал жадно курить и оглядывать окружающих.

— Но, но, блуди мне глазами! — пальцем погрозил ему великан.

Окурок жег губы и кончики пальцев. Взгляд у великана был знающим, твердым, и Швамме с неохотой кинул:

— Да, мой...

— Так, пу, показывай, Марья...

Женщина ножом сняла с ящика крышку, и Швамме увидел то, что вчера кулаками втискивал в ящик: большой вязаный женский платок, сизую беличью курточку, отрез шерстяной материи, два мотка белой шерсти, несколько пар связанных в жгут чулок, стянутые кофточкой две серебряных ложки, сивую шапочку и горжетку — лису с оскаленными зубами.

— Ваня, спроси его: он хотел послать это Маргарите Швамме, в город Хемниц?

Вопрос обозлил Швамме — чего им надо от него? — и он развязно ответил:

— Да, хотел.

— Не стыдится, гадина. Ну, Марья, говори, что хотела сказать, только держи сердце на привязи...

Женщина встрепенулась, и ее бледное, изборожденное морщинами лицо стало строгим.

— Что ж, вещи эти моей дочки, — заговорила она, — а покупала я. Ночей не досыпала, лишнего куска лишала себя, все хотела, чтоб дочка, когда в лета войдет, могла покрасоваться в хорошем платье, в пальтеце или шубейке на люди выйти, чтоб были у нее и ложка хорошая, и кофточка чистая, и запасной кусок материи на платье, и маленькому на пеленочки, — чтоб не нуждалась она в тряпке, когда выпадет ей

счастье замуж выходить, радоваться и детей зачинать. А он взял их и в этот ящик заколотил, и лопотал, что мы никакие не рабочие, а он рабочий, металлист будто. Вот я с прочими людьми и прошу дознаться, кто же он такой, и написать ихним людям, всему ихнему народу сказать, какой он. Ведь им, немцам, тоже страшно будет с таким, ведь...

Договорить женщине помешали слезы.

— Ванюша, объясни ему, про что говорила наша женщина и чего она плачет.

Мальчику нехватало слов, он указывал на женщину и твердил, что это говорит она, работница, ткачиха, убежавшая в село от немцев. Швамме кивал, но улыбался так, будто передразнивал кого-то. Великан вновь погрозил ему пальцем:

— Ваня, раз и навсегда разъясни ему: мы, партизаны, правая рука Красной Армии, советской власти, большевистской партии и защита угнетенных. Пусть он отвечает как следует. Это ему не Германия. Сказал? Теперь спроси его: правду говорит эта женщина?

Швамме вспыхнул — да что они, судят его, что ли? — и презрительно отмахнулся.

— Не хочешь отвечать? Ладно. Ваня, скажи ему: этой женщине не верится, что он изверг, и она упросила нас поговорить с ним. Ей стыдно за него и за всех его людей! Сказал?

Швамме выслушал, в удивлении поглядел на плачущую женщину и брезгливо кинул:

— А на что мне эта дохлая коза?

Мальчик вспыхнул, будто его ударили, и с трудом перевел. Партизаны зашевелились, а женщина всплеснула руками:

— Господи, что у него на уме?! — и заплакала громче.

— Ну, разнюнилась, а хочешь в партизанки! Или я не говорил тебе?! — с горечью крикнул великан и обернулся к мальчику:

— Ваня, для порядка спроси его: кто его родители и чем он занимался дома?

Швамме хмыкнул и ответил четко, даже горделиво: его отец бухгалтер, а сам он работал на заводе.

— Врет! — раздалось в углу.

— Ша, — поднял руку великан. — Ваня, спроси его; а если чужие солдаты придут в его Хемниц и выгонят на холод его мать с детьми и станут бить их, дознаваться, где они спрятали вещи, и разденут их, и привяжут голыми к столбам, как он делал у нас, да при них же будут насиловать его сестру или жену, и грабить всех, и посылать награбленное к себе домой, — спроси его, что он, сукин сын, будет тогда делать?

Вопрос, казалось, оскорбил Швамме, и он выкрикнул:

— Этого не будет!

В землянке все встрепенулись и стали глядеть на Швамме так, что он уже не мог сдержать страха и перевел взгляд на мальчика. Тот переложил с места на место свои руки и закричал ему в глаза:

— Мы, мы не станем, как ты, делать! У нас Красная Армия! А если другие солдаты станут делать, как ты, тогда что? Ты говори! Я о тебе пионерам буду рассказывать. Раз ты рабочий, ты не имеешь права, ты говори...

— Никакой он не рабочий. Вот сейчас увидите.

С пола поднялся человек в бобриковом пиджаке, подошел к столу и сказал:

— Давай сюда руку!

Великан толкнул Швамме, и когда тот положил на стол руку, все склонились к ней. Рука у него была блеклая, без следов мозолей и ссадин. Швамме не понимал, зачем партизанам понадобилась его рука, а когда они отошли от стола, ему почудилось, будто рука сказала о том, что ему страшно, что на посылках жене он строил свое будущее, что теперь он любой ценой готов купить жизнь, но не знает, что предложить взамен нес. Партизаны разглядывали его и чего-то ждали...

— Ну, видите? — нарушил молчание великан. — А рабочий он или не рабочий, это роли не играет. Такой родную мать может убить. И что он, змея, может нам сказать? У него совесть протухла в крови.

— Да откуда они берутся такие?

— Все оттуда же, Марья, все одураченные, чумой опоенные. Ну, хватит, или еще разговаривать будете? По-моему, хватит, сыты, а?

Великан подождал немного и сказал мальчику:

— Ваня, скажи ему: никаких его слов нам не надо. Скажи ему: таких, как он, в лютое время на своей земле мы терпеть не можем. Сказал? Объясни ему: уничтожим мы его не за то, что он немец или солдат, а за то, что он детоубийца и грабитель, а если он рабочий, то изменник своему классу. Сказал? Еще скажи:

жене его, в Хемниц, мы напишем, как насильовал он, как убивал детей, как грабил, чтобы нарядить ее, свою жену, в награбленное...

Лицо Швамме сморщилось, и он лихорадочно прервал мальчика:

— Нет, мальчик, нет, ты скажи им. скажи, что она, Маргарита, сама просила добыть подарков. Я не сам, я для нее... Я сейчас, я вам письма ее покажу, вот...

Руки его дрожали. Он расстегнул куртку, засунул в пустой карман руку и в бешенстве закричал:

— Где мои письма?! Вы обворовали меня! Вы, вы, как вы смели?!

— Ваня, скажи ему: письма и бумаги отправлены куда надо, а его пакостные открытки мы сожгли. Сказал? Он сваливает все на жену. Скажи ему, что нет у него стыда и все будет так, как сказал я. Марья, все ясно?

— Все,— шепнула женщина.

— Молчишь, значит?

— Молчу,— еще тише шепнула женщина.

— Ваня, скажи ему: эта женщина продлила тебе жизнь, через тебя она по своей слабости хотела донести страх до твоих родичей, а теперь она видит, какой ты, и ей нечего сказать...

Швамме стиснул на спине руки, глянул на женщину и увидел в ее глазах то же, что было в глазах великана.

Когда его вывели наружу, месяца в небе уже не было. Холодную ноябрьскую ночь от земли отодвигала бирюзовая полоска рассвета.

ДВЕ СМЕРТИ

Седой хирург был в коротком халате и напоминал голенастого аиста. Он изнемогал от работы, но не сдавался. Его жена, тоже белая и седенькая, следила за его искусными руками, стирала с его лба пот, подавала инструменты, лекарства, комки марли и ваты.

За окнами догорал вечер. Где-то взрывались бомбы и снаряды, с поля доносился стрекот пулеметов, вдоль колхозной улицы пробежали мотоциклы, чохкали выхлопные трубы машин,— хирурга и жены его это не касалось: они будто приказали звукам не мешать им и не слышали их.

Санитары и санитарки убирали багровые бинты, стирали со стола кровь, меняли клеенку, подносили новых раненых. Хирург быстро и уверенно надрезал кровавое тело и, казалось, был равнодушен к тому, как оно извивается и трепещет от боли.

Закончив работу, он шагнул к умывальнику и прислушался. За перегородкой металась, тяжело дышали, в бреду чем-то восхищались, кого-то проклинали, даже пели. Усталость туманом отгородила свет лампы, отодвинула голоса раненых,— хирург мыл руки и стоя засыпал. Разбудили его тяжелые шаги и голос красноармейца:

— Товарищ хирург, в хату агронома доставили летчика. Вы очень нужны. Сестра уже воду кипятит для инструментов и послала за вами...

— Тяжелый?..

— Очень...

— Смените халаты...

Хирург помог сложить в чемоданы инструменты и лекарства, сверху придавил их шуршащими халатами и вместе с женою вышел наружу.

Вспышки ракет, зарницы пушечных выстрелов и пробегающие по крышам хат огни прожекторов делали темноту вечера похожей на разбавленные водой чернила...

В перерывах между выстрелами хирург слышал шуршанье песка под ногами. Посреди села он свернул, в знакомый прогон и по тропе направился через обсаженное кукурузой картофельное поле. Оперировать в хате агронома пришлось при свечах, но долгая трудная операция удалась, и это взбодрило хирурга. Он вышел из хаты с шутками, а на сельской улице насторожился и притих: выстрелы оборвались, и среди хат залегла странная тишина. Хирург сжал руку жены, та без слов поняла его, и они пошли быстрее.

У столовой машин уже не было. Хирург толкнул дверь, крикнул и с зажженной спичкой шагнул в помещение,— ни больных, ни санитаров, ни вещей,— только запах иодоформа, карболки и спирта.

— Никого нет. Должно быть, внезапно случилось что-то и нас не успели известить. И этот летчик и сестра остались. Такой чудесный

парень. Пойдем, в крайнем случае увезем их на подводе...

Хирургу хотелось сказать, что летчик похож на сына, но он пощадил жену и широко зашагал в темноту улицы. Жене трудно было поспевать за ним, и она раз за разом брала песок и свои башмаки на высоких каблуках. Хирург советовал ей крепче опираться на него, насмешливо забормотал, что она носит высокие каблуки для того, чтобы быть ему по плечо, и неожиданно услышал картавую команду. Немцы по прогону бежали в село и сразу же в обе стороны начали простреливать улицу.

— Мы отрезаны. Иди сюда, вот сюда.

Хирург втолкнул жену в подвернувшийся двор. У стены хаты сидели старик и старуха, а между ними под тулупом лежали дети. Старик ойкнул, но, узнав хирурга, поманил его за собою, за вишнями приоткрыл ворота в овин и зашептал:

— Заходите, полезайте наверх и прячьтесь. А я, как уляжется все, шепну нашим, они переправят вас. Вот лестница, да не бойтесь, я приберу ее, а вы без меня ни гу-гу.

В овине, на перекладинах, лежали жерди и доски, а на досках ворох соломы. Хирург сделал в соломе лёжку, спрятал чемоданы, а себя и жену прикрыл соломой. Они переплелись руками и стали вслушиваться, но усталость сразу же спутала все звуки. Хирург и жена его заснули и спали всю ночь, а возможно, и день, и еще ночь.

Разбудили их голоса и шаги. Немцы бежали по овину, спорили и поднимали что-то тяжелое. Это была лестница. Вот она ударилась о доски

и закришела, солома содрогнулась под чьей-то гтяжестью и зашуршала все ближе и ближе. Кто-то дернул хирурга за ногу и по-немецки сказал:

— Господин доктор, господин доктор...

Хирург обеими руками сбросил с себя солому, увидел белорусого немецкого офицера с револьвером, молча поднялся, подал жене руку и повел ее к лестнице. Стоявшие внизу немцы казались ему маленькими и квадратными.

— Скорее, пожалуйста, скорее,— повторяли они.

Это удивило хирурга. Он сошел вниз и не отпирал от лестницы рук, пока ноги жены не коснулись земли. Немцы обыскали его и указали на выход. Это тоже удивило хирурга.

Солнечное утро было пронизано запахами капусты, тыквы и горечью палой листвы. Во дворе, раскинув руки, лежали скрюченные и почти голые старуха и старик, а возле них плакали дети. Хирург заглотнул слезы, задержался перед стариком, но немец коснулся его плеча и, улыбаясь, указал на улицу.

На дороге лежали убитые, из-за заборов доносились визг женщин и детский плач. Хирургу казалось, что вместе с людьми плачут все хаты, и он в ярости начал вздымать ногами пыль. Немцы заворчали, но он притворился, будто не понимает их, и сказал жене:

— Нас кто-то выдал. Старик и старуха погибли из-за нас.

Один из офицеров закричал, чтоб они не разговаривали, но другой остановил его и презрительно кинул:

— Не трогай, чорт с ними!..

Хирург покосился на них и пробормотал:

— Эти молодчики чего-то хотят от нас...

— Похоже, но ты не волнуйся, не надо. Нас ведут к школе, гляди...

У школы навтыяжку стояли солдаты. На крыльцо вышли полковник, капитан и заулыбались. Полковник жестом пригласил хирурга в жилую половину школы и по-русски спросил:

— Вы хирург?

Хирург выпрямился и, вспыхнув: «Зачем я буду с ним комедию ломать?» — по-немецки резко ответил:

— Да, я хирург Васильев, а это мой ассистент и жена, но мы не привыкли стоять навтыяжку, мы...

— Простите, садитесь, вот сюда... Э-э, нам сказали, вы отличный хирург...

— Не знаю, — оборвал полковника хирург, — и прошу вас — обойдитесь без любезностей. Вам кто-то выдал меня с женою, но вам этого было мало, и вы убили старика и старуху за то, что они дали нам приют. Я был на русско-японской, на русско-немецкой, на гражданской войнах, я все видел, все знаю, но того, что делаете вы, я не видел, нет. Поэтому обойдитесь без любезностей. Что вам угодно? Зачем нас привели сюда?

Полковник был сизым от ярости, но улыбался.

— Видите, господин хирург, нам нужна ваша помощь, и вы, надеюсь...

— Это цинично, но вы уже потеряли меру допустимого. В какой помощи вы нуждаетесь?

— Видите... Но вы отнеситесь к моим словам серьезно, иначе я, как немецкий офицер, вы-

нужден буду... вы понимаете... У нас есть раненый, его опасно передвигать. Если вы сделаете все хорошо, то...

— О, можете не продолжать! — прервал полковника хирург. — Я знаю, что меня ждет, если я не сделаю операции... Или вы хотите сказать, что если я хорошо сделаю операцию, то вы разрешите мне сотрудничать с вами и, может быть, захватите меня в вашу Германию? Ведь это же...

Глаза полковника стали рысьими, и он проворчал:

— Господин хирург, я прошу вас...

— Я тоже прошу...

Хирург запнулся, и глаза его вспыхнули: на пороге вырос белорусый офицер, тот, что дергал его на соломе за ногу. Лицо у него было торжествующим: он держал в руках чемоданы с хирургическими инструментами.

— Вот, нашел, там же, в соломе...

«Это упрощает дело», — подумал хирург и, указав, куда надо поставить чемоданы, спросил жену:

— Ты все понимаешь?

— Да, понимаю, — задыхаясь, шопотом ответила она и топнула каблуком.

Лицо ее стало светящимся, а губы сузились. Хирург понял ее, улыбнулся, раскрыл чемоданы и почти весело спросил:

— Значит, ты готова?

— Да, да, я не девочка, мне уже пятьдесят восемь лет, — в тон ему шепнула жена.

— Ты чем старше, тем моложе, — восторженно сказал хирург и подошел к ней: — Прошу...

Он помог жене надеть халат, заботливо раз-

глядя на ней складки и хмуро, словно перед ним стояли неуклюжие новички-санитары, командовал немцам:

— Освободить этот стол! Приготовить кипяток! Где больной? Спирт!..

Жена застегнула на нем халат и полила ему из флакона на руки. Полковник вытянулся п на носках пошел в глубину передней. Там была квартира школьного учителя.

В углу лежал ворох разорванных тетрадей и книг, на ворохе валялись разбитые бюсты Пушкина и Ленина. На стене в рамках висели простреленные почетная грамота и почетный отзыв.

«Здесь жил такой же учитель, как мой отец», — подумал хирург.

На постели метался тучный синеющий человек. Ершистая голова его лоснилась от пота. «Должно быть, шишка», — подумал хирург и кивнул жене. Та сняла с больного простыню. Осколок снаряда прорвал живот и застрял там. Хирург рукою дал знак, что ему все ясно. Больной шевельнулся, открыл водянистые глаза и забормотал...

Как бы соглашаясь с ним, хирург кивнул головою и двинулся в переднюю. Полковник с масляной улыбкой на лице спросил его:

— Господин хирург, как он, по-вашему?

— Ему очень трудно. Вам солгали, что прошло два часа с момента ранения. Этого не может быть. Кипяток готов?

Один из офицеров выскользнул в сени. Хирург подошел к чемоданам, выпрямился и с улыбкой поглядел на жену. Самовар внесла старая колхозница и, увидев хирурга в халате, на-

хмурилась. Глаза ее, казалось, кричали: «Этих тоже лечишь?!» Хирург провел рукою по ее плечу и сказал немцам, что при нем останутся только его жена и еще двое, а остальные... Он повелительно указал на дверь. Немцы заворчали и неохотно двинулись на крыльцо. В передней остались полковник и белорусый офицер.

Хирург вынул из чемодана белую клеенку и накрыл ею стол, а жена выложила в широкую блестящую коробку инструменты. Он из сверкающей кружки залил инструменты кипятком и поставил коробку на стеклянные подставки. Жена зажгла спиртовку и вдвинула ее под коробку. Хирург расстегнул в чемодане карман, вынул оттуда блокнот, карандаш, положил их на стол и сказал жене:

— Бери.

Они за края приподняли стол и понесли его к раненому.

— Вот и все, — шепнула жена. — И ты за меня не беспокойся...

— Чудесно. Крепко целую тебя.

— Я тебя целую еще крепче...

Хирург заглянул жене в глаза, шагнул к двери и деловито сказал полковнику и офицеру:

— Вы, может быть, понадобитесь: почище вымойте руки, как можно чище, и ни к чему не прикасайтесь ими...

Полковник и офицер успокоенно пошли к умывальнику. Из-под усов хирурга скользнула улыбка, осветила лицо и погасла. Он вернулся к столу:

— Все готово.

Стул скрипнул под ним. Он придвинул к себе блокнот и взял карандаш. У карандаша бы-

ло два острия — синее и красное. Он ощупал их, вскинул голову и, как бы всматриваясь в сверкающее за окном осеннее утро, начал писать. Жена его вылила в два стаканчика лекарство из пузырька и один поставила у блокнота, а другой прикрыла рукою и тоже села.

Хирург взял стаканчик, а блокнот передвинул к жене и подал ей карандаш. Губы ее зашевелились, глаза стали пристальными и чуть-чуть влажными. Она кивнула, расписалась в блокноте и что-то шепнула. Ее шопота хирург, должно быть, не расслышал и махнул рукою так, будто хотел сказать, чтобы его больше не волновали словами. Комнату заполнило дыхание больного и шипение спиртовки.

К двери подошли полковник и офицер с оттопыренными влажными руками. За столом, странно изогнувшись, неподвижно сидели хирург, его жена и будто прислушивались к бульканью воды в коробке с инструментами.

Издалека докатился пушечный выстрел, потом донеслось мычание коровы. Хирург и жена его как бы шевельнули судорожно вытянутыми руками и стали вглядываться в сизые клубы пара. Полковник в недоумении развел руками и кашлянул. Офицер кашлянул громче, — молчание. Полковник вскинул руку, и они вдвоем на носках пошли к столу. Хирург и жена его не шевельнулись. Полковник и офицер глянули через их головы на стол.

— Господин хирург, вода уже выкипает, — недовольно пробормотал полковник.

Хирург и жена его были неподвижны. Полковник коснулся рукою хирурга, его жены, злобно зарычал, выбежал вон и вернулся с те-

ми, что ждали на крыльце. Они в бешенстве глядели на улыбающегося из-под ладони хирурга, на страдальчески сдвинутые брови его жены, косились на хрипящую на постели синюю тушу и потянулись к блокноту. Там, над датой и подписями, четко красным карандашом по-немецки было написано:

«Быть пособниками грабителей, детоубийц, насильников и палачей народа могут только мерзавцы. Вы на нашей памяти второй раз гнусно издеваетесь и грабите наш народ. Скорбим, что только своей смертью можем подтвердить нашу ненависть к вам».

ЖЕЛЕЗНЫЕ КРЕСТЫ

Грузовую машину колхозу присудили на выставке, — этого Ефим Луговой никогда не забывал: она всегда была у него исправной. Весною и летом передок ее нередко украшали цветы, ветки, пучки колосьев. В праздники Ефим возил на ней колхозников в город, в соседние колхозы, а оттуда привозил гостей, киноленты, агронома...

Пока немцы были далеко, он маскировал машину и возил бойцам свежую и жареную баранину, пироги, овощи, а с тех пор, как его вместе с машиной передали дивизии, на ней все перебивало — и раненые, и снаряды, и партизаны и разведчики, — и она ни разу не подводила его.

И вдруг... холодной осенней ночью, после тряского и трудного рейса к партизанам, машина остановилась — и ни с места. Установить, что с нею, Ефиму сразу не удалось, а бросать ее, — э-э, ему легче было бы бросить захромавшего коня! Он с помощью кола скатил машину с дороги, начал ощупывать ее, но изъян как бы прятался от него. Пришлось снять ватник, достать домкрат и лезть под колеса. В спешке он вынул из кармана электрический фонарик,

посветил им, обрадованно задвигал ключом, а его кто-то схватил за ноги и потащил...

— Ну, ну, какого чорта, — вырываясь, заворчал он и увидел перед собою трех немцев.

Они зашипели, дулами револьверов притиснули его к борту машины и отобрали ключ. То, как они обыскивали его, о чем говорили при этом (а немецких слов он уже нахватался), их высокие нелепые картузы убеждали, что перед ним важные офицеры. Больше всех убеждал в этом толстый и самый, казалось, важный: он прижимал к боку портфель, то и дело озирался и напоминал пойманного жирного жука.

— Ти доставляйт стансия, там, там...

Немец указал туда, где станции не было. Это, а главное — портфель, до предела насторожило Ефима, и он мгновенно решил свою судьбу, судьбу немцев — и решил так, что ему даже весело стало. Голос его, во всяком случае, зазвучал почти вызывающе:

— Доставляйт? А на каком чорте я этот доставляйт буду делать? Ведь захромала вот...

И Ефим указал на машину. Один из немцев дулом револьвера уперся в его локоть, толкнул в сторону дороги и, словно собаке, скомандовал:

— Ге, там, там...

Ефиму сразу же стало не по себе: он предполагал, что немцы хотят ехать на его машине, а оказывается... Он схватил ватник и, надевая его, пошагал между двумя немцами, — третий шел сзади. Они выбрались на дорогу и шли по ней, пока впереди не обозначилось какое-то пятно. Это была открытая легковая трехместная машина.

— Да ист, ми стансия, стансия...

Немец сделал рукою движение, означавшее, что ехать надо скоро. Другой раскрыл дверцу и вставил в щиток машины ключ, а самый важный стал впереди и как бы преградил машине дорогу.

Возле сиденья Ефим увидел что-то похожее на чемодан. Рядом с местом водителя сидел, откинувшись в угол, забинтованный человек в клеенчатом плаще.

«Ага, значит, партизаны вашего шоферика уже тавокнули»,— обрадовался Ефим и спросил:

— А где же этот, как его, геноссе, герр механик?

— Но, но, рассуждайт, свиня!

«Ого, рычишь, чорт картузастый»,— подумал Ефим, усаживаясь за руль, и, чтобы окончательно убедиться, что немцы не знают, куда ехать, указал вперед:

— Значит, ехать туда?

— Та, та, шнеллер, шнеллер...

Немец руками объяснил Ефиму, что свет зажигать нельзя, и все трое сели в машину. Двое откинулись на сиденье, а тот, что разговаривал и, должно быть, считал себя знающим русский язык, коленом стал на чемодан и дулом револьвера почти уперся Ефиму в плечо.

Там, куда машина неслась, станции не было, но случайно немцы выбрали направление к своим. Это тревожило Ефима: машину может остановить немецкий патруль, трое узнают, что он везет их не к станции, и они убьют его или пленят.

Это они могут. Им лишь бы спастись. Ишь, ежатся, озираются. Эх, влететь бы с ними на

их собственной машинке прямо к дивизии! Это было бы дивно! Но для этого надо сворачивать на полевую дорогу, и немцы убьют его сразу или заставят возвратиться на эту дорогу и убьют позже. Но шалите! Сейчас дорога будет оги- бать бывшую большую лужу. И вот там, на из- гибе к балке, можно будет попробовать...

Ефим знал, что все может кончиться смертью, но другого выхода он найти не мог да и разду- мывать уже некогда было. Однако он думал. Мысли плыли в его голове густые, и он в не- сколько минут как бы пролетел по всей своей жизни и понял, что в ней было хорошего и пло- хого, повидался с матерью, перед которой счи- тал себя виноватым, с женою, с детьми, с то- варищами. И странно: мысли эти не мешали ему следить, как сидят в машине двое, не шеве- лится ли забинтованный, спокоен ли тот, что держит у его плеча револьвер.

Но вот и бывшая лужа! Ефим перевел дыха- ние, пальцами незаметно попробовал запор двер- цы, направил машину чуть-чуть наискось, пра- вой рукой толкнул кверху револьвер немца и не то прыгнул, не то скатился в отброшенную ле- вой рукою дверцу.

Миг или час,— а может быть, и больше,— он ничего не сознавал, хотя потом и уверял всех, будто слышал, как машина рухнула с обрыва в балку и загудела на камнях. Но это только казалось ему.

Очнувшись, он вспомнил не немцев, а дав- нишнюю автомобильную аварию: ему помере- щилось, будто он очнулся именно после этой первой своей аварии. Как и тогда, он, казалось, не головой, а скорее ноющими ногами и плечом

подумал: «Как же это случилось?» Затем ему начало чудиться, будто он лежит у высокого забора, а за забором кто-то перебирает на огромной домбре басовые струны. «Да ведь это пушки гремят», — пронеслось в его сознании. Он окончательно пришел в себя и вскочил. Его качнуло. Чтоб не упасть, он расставил ноги и, мысленно понукая себя: «Но, но, без нежностей!», стал вглядываться в темноту. Балка была рядом.

Дно балки Ефим знал хорошо: слететь в машине на это дно и остаться живым нельзя. И все же он ногою нащупал оставленный шинами след и подошел к обрыву. Прислушиваясь, он погладил ушибленную ногу, вернулся на дорогу, дошел до покатога спуска в балку и осторожно сошел на дно прорытого весенней водою русла. Чтоб камни не гремели, он двигался медленно и на ходу убеждал себя, что без ватника он, пожалуй, не уцелел бы: плечо ныло, нога подламывалась.

Завидев впереди серое пятно, он поднял камень и остановился. Раскаты далеких выстрелов плыли над стоявшей в балке тишиной, в ушах роился тонкий перезвон. Ефим стал на колени, бросил камень в серое пятно и припал к земле. Пятно кракнуло — и ни звука. Ефим нашарил новый камень, поднялся и подошел к пятну ближе.

При падении машина уткнулась носом в камни. Ефим настороженно шагнул к ней, еще раз, еще и коснулся приподнятого и перекошенного кузова, — ни шороха. Тогда он выпрямился и вытянул шею.

Из-за барьера, отделявшего сиденье от маши-

ны, свисали ноги. Ефим придвинулся к ним и стал на подножку. Рука его остановилась на пятой ноге,— шестой он не стали искать и ошарил низ сиденья. Там стоял чемодан, из-за чемодана торчал портфель. Ефим выдернул его, кое-как выставил наружу чемодан, почувствовал резь в ноге и отмахнулся от желания захватить вместе с портфелем револьверы: для этого надо было выволакивать немцев из машины, а ночь, казалось, была уже на исходе.

Ефим глянул на небо и с чемоданом, с портфелем двинулся по дну русла. От напряжения в глазах его помутилось, балка представилась залитой ярким солнцем: ух, как гудит здесь весною вода! «Нет, чемодан надо оставить». Он углубил подвернувшуюся яму, поставил в нее чемодан, окружил его мелкими камешками, сверху наложил крупных камней и вздохнул.

На подъеме из балки ушибленная нога подвернулась, и он шел все тише и тише,— теперь даже портфель был в тягость. А на дороге, за бывшей большой лужей, впереди вдруг замелькали какие-то люди. По спине Ефима пробежал холодок,— сил для сопротивления не было, да и чем, собственно, сопротивляться? Эх, надо было револьвер хотя бы один взять... Он подался в сторону, намереваясь спрятать куда-нибудь портфель, но голоса людей показались ему знакомыми. Он вслушался в них и крикнул:

— Свой! Сюда! Вы меня, черти, совсем из седла выбили!

Партизаны кинулись к нему и подхватили под руки:

— Ефим? Ты чего здесь? Ранен?

— Нет, тсс... От радости опьянел и один не

доберусь, видно, крепко упал. Один доведет меня до машины,— не бросать же ее проклятым волкам,— а остальные вот что... сходите в балку и принесите сюда, но, тсс...

Говорить Ефиму долго не пришлось: партизаны поняли его сразу. Когда он подъехал на своей машине к балке, двое поставили в нее чемодан и бросили одну генеральскую и две полковничьих немецких формы. В их руках была еще одна форма, но Ефим увидел ее только в штабе дивизии, когда бумаги, лежавшие в портфеле, были уже просмотрены. Тогда вскрыли чемодан. С боков в чемодане лежали аккуратно свернутые части парадной генеральской немецкой формы, а в середине, как в гнезде, блестел ворох перемешавшихся при падении в балку железных крестов.

Стены землянки посветлели, и возле походного стола долго не могла установиться тишина: все расспрашивали Ефима, как попали к нему чемодан и портфель, целовали его, поздравляли, перебирали кресты, пытались говорить, как генерал ехал награждать этими крестами солдат, а потом летел с ними в балку, но смех обрывал слова...

Когда Ефима повели на медицинский пункт, занималось утро. Солнце сверкнуло на многострадальном шоферском кожаном шлеме и, как бы показывая Ефима всей земле, до башмаков позолотило его молодыми лучами.

ПРО СИНЕЕ МОРЕ

...Я собирался ехать в город, где работал мой одноклассник и приятель с молодых лет — Никита Петрович Вербовой. Он и его Аграфена Ивановна были людьми, с которыми я забывал, что мне без малого шестьдесят лет, — они как бы подпирали мою молодость и украшали пройденный вместе с ними путь. Я предвкушал встречу, нет, я радовался ряду встреч, — мне предстояло прожить с приятелем больше месяца, — и вдруг получил от него записку:

«Гоп, дружище, пришла лютая минута, ты нужен. Будь завтра у нас на вокзале и жди: без провожатого нашего нового гнезда не найдешь. Вырвись хотя бы на денек, гоп, прошу тебя...»

Если бы я не знал почерка Никиты Петровича, мне трудно было бы поверить, что эти слова принадлежат ему, человеку доброй закалки, чудесного сердца и завидного здоровья. Не одну — тысячи лютых минут знали мы с ним, но не жаловались, а тут жалоба, да еще в такие дни... Значит, приятелю неволе, надо спешить...

До отхода единственного в сутки поезда считанные минуты, и я через пруд бегу к вокзалу. Пруд как бы раздвигает город, огни и звуки покинутого берега отдаляются. Я слышу голоса заводов, взрывы испытываемых где-то снарядов. Затем навстречу мне начинает проплескиваться песня широкого железнодорожного перекрестка: все громче тарахтят пролетающие составы, режут маневренные паровозы, лязгают буфера, чоккают по бандажам молотки, шипит пар, гремят взбрасываемые на тендеры поленья, заливаются рожки, нарастают крики сцепщиков, начальников эшелонов, подвижных лазаретов,— песня крепнет и надвигается в игре зеленых, красных и дымно-оранжевых огней.

Начало эта песня берет у гремящих пламенем доменных и мартеновских печей, у конверторов и блюмингов, в грохоте молотов, в треске клепки, в говоре миллионов шестерен и шестеренок,— оттуда в погоду и в непогоду, днем и ночью, по веткам сбегаются сюда вагоны и платформы, груженные бомбами и минами, снарядами и пушками, балками и рельсами, швелерами и листами брони, слитками металлов, витками проволоки, пакетами железа и труб...

Здесь, на перекрестке, все это, при надобности, сгружается, перегружается, и вагоны строятся в эшелоны. На площадки вспрыгивают сопроводители, косотрубые, приземистые паровозы трогаются, набирают скорость, искрами золотят просторы, криками трясут скованные стужей горы, распадки, леса и мимо заводов и городов, сквозь тоннели, поселки и села, по насыпям и мостам мчатся на запад. Люди улыбаются им, взглядами как бы торопят, подтал-

квивают их, а сами, как я, спешат на работу пешим маршем, висят на площадках ободренных трамваев, дрогнут на полуобутых грузовиках, в промерзших дачных вагонах.

Я втискиваюсь в тамбур переполненного вагона, когда поезд уже трогается. Люди хрустят чемоданами и корзинами, кое-как помогают мне захлопнуть дверь, и мы едем,— часа через четыре я увижу Никиту Петровича.

Окна забиты фанерой, и в тамбуре темно. Мы стоим плечом к плечу, с площадки под ноги нам стелется дыхание сорокаградусного мороза.

— Врагам бы нашим так ездить,— гневно выдыхает бас.

— Согласен, а меня корзиной ты все-таки не уродуй.

— Да я разве не понимаю, но что тут сделаешь? Повернуться нельзя.

— Не спорьте, не спорьте... Ну, тесно, а что такое эта теснота? Это ж благодать, если сравнивать с бедою на фронте или под бомбежкой. Ехал вот я с заводом, налетел фашист-гадина, да как начал...

Мы вслушиваемся в слова скрытого темною соседа.

— Ничего,— говорит кто-то,— уже отливаются кошке мышкены слезы.

Все оживляются, и, я чувствую, светлеют сердцем. Судя по голосам, в тамбуре нас девять человек: пятеро пожилых, три парня и одна женщина,— все заводские. Самому старшему из нас принадлежит бас,— это он помянул о трудной езде. Ему, должно быть, холодно. Он посту-

кивает ногами и говорит, что в Донбассе теперь уже пригревает солнце, — февраль на пороге, — что у него остались там домишко и сад, что он до работы поливал цветы, подвязывал яблони, сливы и груши.

— Ну, прямо благодать была: через самый поселок провели трамвай. Встанешь, повозишься в саду, посидишь под яблоней или под абрикосом, минута в минуту сядешь в вагончик — жик-жик — вот тебе и шахта, а сила вся при тебе. Эх, поскорее кол забить бы Гитлеру в горло...

— Домой тянет?

— Хорошо бы, но ведь домой нам придется ехать по очереди, а то беды не оберешься. Нас только пусти, как вода хлынем, поезда запрудим, вагоны своим телом развалим...

— Это верно...

В голосах раздумье и забота. Вагон вздрагивает, дверь слегка приоткрывается, и в тамбур с табачным дымом в полоске света прорывается песня про синее море и черные волны. В моем воображении встает море, каким я видел его в последний раз, но дверь захлопывается и отбрасывает его.

Синим простором от песни пахнуло, оказывается, не только на меня: мои спутники оживляются и наперебой говорят о море, о Днепре, о Донце, о степях, будто поезд уже мчит их туда, на юг... Я вслушиваюсь в их голоса. Мне уже ясно, кто с каким заводом приехал, кто кого потерял в пути, кто кого оставил там, что слышно оттуда...

Какая у каждого дорога! Как вспахали сердце страдания и гнев! Иные поскрипывают зубами и дышат так, будто руки их лежат на гор-

ле врага, захотевшего впрячь в ярмо их, слесарей, котельщиков, шахтеров, членов советов, шахткомов, завкомов, хозяев садов, поселков, городов...

Дверь распахивается, и нашу беседу обрывает бойкий голос:

— Ну-ка, землячки, давайте так на так, без придачи, менять места! Заходите в вагон, нам сейчас сходить...

Мы хрустим чемоданами и корзинами, втискиваемся в освещенный единственной лампочкой вагон и в удивлении озираемся: вперемежку со штатскими стоят и сидят танкисты; по рукам ходят кисеты и жестянки с табаком,— идет беседа. А посреди вагона, под лампочкой, в тесноте стоит высокий танкист с записной книжкой и пишет.

Лица у танкистов свежие, загорелые. Где они загорели в такой холод? Оказывается, они были под Сталинградом, на Урал приехали через Таджикистан, Казахстан и в пути наглотались солнца.

— А теперь куда?

Танкисты переглядываются.

— Туда, где пасут коней,— уклончиво отвечает один.

— Железных коней,— дополняет другой.

— Каких там железных,— стальных! — восклицает третий.

Мы догадываемся, о каких конях идет речь, и кричим:

— Кони есть, ого!

— Еще какие!

Женщина, что дрогла с нами в тамбуре, не понимает, о чем мы говорим, и удивляется:

— Кони? Какие кони? У нас места заводские, не помню я что-то здесь коней...

Мы смеемся, а танкист под лампочкой все пишет и пишет. Я вижу его в профиль. У него прямой нос, крутой подбородок, а губы сжаты так, будто он преодолевает боль. Изредка он взмахивает карандашом и пишет торопливее. Почерк у него, кажется мне, крупный, прямой и отрывистый.

Его толкают, он переступает с ноги на ногу, и я вижу его лицо яснее. Обращенный ко мне глаз неподвижен, и это убеждает меня, что танкист не может не писать, что говор и теснота не мешают ему.

Но что он пишет? Письма близким он успел написать до Урала. Воспоминания? Да кого потянет в такой тесноте к записи воспоминаний! Дневник? Нет, с дневником так не спешат...

Я останавливаюсь на мысли, что танкист пишет кому-нибудь из дорожных знакомых... может быть, девушке. Конечно, девушке! Я успокаиваюсь, но мне тут же начинает казаться, что письмо — даже девушке — не может быть таким длинным... Меня томит беспокойство. Я вынимаю записную книжку и крупно пишу в ней:

«Товарищ, о чем вы пишете в такой тесноте? Если можно, ответьте, я у двери, справа от вас».

Я четко подписываю записку и подаю соседу:
— Передайте тому вон товарищу...

Записка перелетает с плеча на плечо. Танкист, не читая, нетерпеливо засовывает ее в

карман и продолжает шить. Это вконец убеждает меня, что он очень взволнован. Мне неловко за свое любопытство. Я отворачиваюсь от танкиста и вникаю в разговор окружающих.

Разговор завязывает пожилой, с печальными и немного воспаленными глазами, рабочий,— по-видимому, сталевар. Он спрашивает танкистов, приходилось ли им встречать среди пленных немцев людей, которые понимают хотя бы то, что зверское обращение с нашими пленными, с мирными людьми,— с женщинами, стариками и детьми,— невыгодно не только им, солдатам, но и всем немцам?

Я с любопытством вглядываюсь в сталевара. Таких, как он, я уже встречал: земля стонет от ужаса, но это не вмещается в их потрясенном сердце,— им все кажется, что зверства совершают не немецкие солдаты, а какие-то особенные выродки...

Свой вопрос сталевар выговаривает почти косяязычно, и мне в первую минуту кажется, что танкисты не понимают его. А затем меня охватывает радость, и мне кажется, что иные из моих спутников, может быть, впервые отчетливо представляют себе врага таким, какой он есть.

Танкисты отвечают сталевару почти все, то есть один начинает, остальные дополняют его.

Первый танкист:

— Я вам, товарищ, так отвечу: немцев, которые понимали бы это, я не встречал, но если такие даже есть, то они на войне роли не играют...

Второй танкист:

— Зверства немцев.— это, товарищ, военный прием против нас, а не случайность...

Третий танкист:

— Тут, товарищ, вот что надо иметь в виду. объяви немцы нам войну так, как полагается, воюй они силой на силу, у них ничего не вышло бы... Они знали это и исподтишка приготовились обрушить на нас силу и глумление, зверства, поджоги, грабежи, рабство... Они хотели оглушить, запугать, раздробить нас ужасом и взять за горло...

Четвертый танкист:

— Гитлеровцы натравили на нас своих солдат: отбрось, мол, все, грабь и убивай, чем больше убьешь русских, тем легче будешь двигаться вперед, тем больше, значит, награбишь. Солдат ополоумел и такого натворил, что теперь ему и податься некуда: зверей дальше или умирай. Ведь мы за сделанное по головке не погладим, стало быть, им один конец...

Пятый танкист:

— А я еще проще скажу. Если немец даже кажется хорошим, если он даже обращается с тобою хорошо, не верь ему,— врет, притворяется и завтра же твоими руками захочет сделать твоему народу пакость, потянет тебя на измену, на предательство. Был такой случай...

Начатого пятым танкистом рассказа я не могу слушать: кто-то называет город, куда я еду, люди снимают с полок вещи, затем кто-то называет мою фамилию.

— Есть такой,— отзываются я.

Танкист из-под лампочки вглядывается в меня и спрашивает:

— Вы, кажется, пишете?

— Да,— отвечаю я.

— Тогда подождите минутку...

Танкист вырывает из записной книжки странички, и они по рукам плывут ко мне.

— Посмотрите там, что к чему...

Поезд замедляет ход.

— Счастливо, товарищи...

Никиты Петровича на вокзале нет, а листочки танкиста будто шевелятся у меня в кармане: о чем он писал? Я пробираюсь к пустому буфету и вынимаю листочки. Они узки, на углах покороблены и загнуты,— писать на них в тесноте вагона было нелегко. Я радуюсь тому, что на расстоянии угадал, какой у танкиста почерк: крупные отрывистые буквы выстроены в строчки прямыми частоколами. Обилие знаков переноса дробит их, и они кажутся лохматым набором случайных слов, связанных между собою частым упоминанием о песне про синее море...

Я вспоминаю отрывок прорвавшейся в тамбур песни, и мне ясно: это она, песня про синее море, взволновала танкиста и подняла его на тяжкий труд — писать в тесноте под тусклой лампочкой.

Я ищу на страничках главное, но слова набегают друг на друга, волнуют и одновременно сбивают меня. Я нетерпеливо вынимаю карандаш и на стойке буфета начинаю брать в скобки кажущиеся мне лишними слова. Мысль, что мне вот-вот помешают, торопит меня, карандаш хрустит в пальцах. Постепенно я перестаю ощущать холод; мне тепло и хорошо: танкист был взволнован песней про синее море и в записной книжке обращался к ней:

«Как ты, песня про синее море, залетела на холодный Урал?»

Как нашла ты этот поезд? Чего тебе надо? Зачем напоминаешь мне, что у синего моря порушенные врагом сады, сломанные мальвы, поруганные девушки, убитые дети?»

Из записей я узнаю, что танкиста зовут Максим Карабан, что он доменщик из Керчи, что он приехал на Урал за стальными конями, то есть за танками, что он с товарищами объездит этих стальных коней, примчит на них врагу лютую смерть и вернет сады, мальвы, синюю, как море, волю и теплую, как берег, где он был счастливым, радость.

— Ой, да зачем вы глаза себе портите? — сквозь жар слов танкиста прорывается голос Аграфены Ивановны.

Так звучал голос моей покойной матери. Я уже седой, но мне чудится, будто я стою под заботливым взглядом родных глаз. Я жму холодные худые руки, обе сразу, прячу листочки танкиста, и мы покидаем вокзал.

До остановки трамвая Аграфена Ивановна успеваает рассказать мне, что на старой квартире она перенесла воспаление легких, что с фронта от всех трех парней недавно были хорошие письма, что Никита Петрович работает в транспортном цехе, что новая квартира суше и удобнее старой, что жены старшего и среднего сыновей уже работают токарями, что внучата катаются с уральских гор, пожалуй, веселей, чем катались в Донбассе, а она, Аграфена Ивановна, все устает что-то, но это от слабости, от холода, — вот придет весна, и она отогреется, поздоровеет...

Ни жалобы, ни тревоги.

«Значит, у Никиты неладно не дома, а на заводе»,— решаю я.

А вокруг тишина и так мирно скрипит под ногами снег, так безмятежно светит полная луна, что не верится, будто здесь выхаживают тех смертоносных коней, за которыми приехал с товарищами керченский доменщик Максим Карабан.

Сбитые из толстых бревен дома, крытые деревом, украшенные резьбой, деревянные шатровые дворы глубоко спят. Лишь в переулке женщина кличет кошку и, рассердившись:

— Ну, ужо попрыгаешь на холоду-то, подлянка.— захлопывает дверь.

На остановке трамвая людно, но прошел ли последний полуночный трамвай, никто не знает. Я боюсь, что Аграфена Ивановна ознобит ноги, и предлагаю идти пешком. Кто-то из прохожих кричит:

— Селиверст, погоди!

Аграфена Ивановна оживает и спрашивает, помню ли я пору, когда Никита Петрович работал в подпольи под кличкой Селиверст. Затем она вспоминает, как мы втроем варили в ссылке налимяю уху. Давнее взвевается, и мы говорим о полузабытых событиях, о потерянных из виду друзьях, врагах...

Дома и дворы вслушиваются в наши голоса, а сквозь тишину все отчетливей прорываются глухие стуки. Из-за крыш под ноги неожиданно падает багровый свет и обрывает наши воспоминания.

— Это зарево от плавки на старом заводе,— заботливо, как гостю, объясняет мне Аграфена

Ивановна.— Тут теперь что делается! Днем и ночью люди не покладают рук. Мы живем между заводами, и в доме ночью бывает так, вроде одна заря потухает, другая занимается: кончится одна плавка, начинается другая, а то и две кряду, а там, глядишь, на заводе у Никиты пойдут плавки. Светом в окна так и бьет...

Мне хочется взглянуть на плавку, и мы выбираемся на взгорок. Завод стоит у пруда в низине. Первыми выдвигаются доменные печи,— со взгорка они видны от колошниковых площадок до подножий. В одной из них пробита лётка, и по желобу в огромный ковш льется пламенным потоком расплавленный чугун. Над потоком и ковшем клубятся дым, пар и роятся огненные звезды. Вдоль потока пробегают кажущиеся черными на пламени чугуна доменщики с похожими на копыя ломами, гребками, протыкальниками...

Мы идем быстрее, но поток чугуна уже иссяк, полный ковш, покачиваясь, отделяется от домны. Завод тускнеет, становится угольно-черным.— даже полная луна не может побелить его. Мы спускаемся со взгорка. Гул и шипенье доменных печей уходят за забор, а голоса соседних цехов крепнут и наперебой твердят, что Максим Карабан ехал верной дорогой: стальные кони выхаживаются здесь днем и ночью...

Никита Петрович появляется перед нами на главной улице, огромный, запыхавшийся, и оглушает меня гремучим басом:

— Гоп, еле вырвался! Здорово! Рад, что приехал... А ты, Граша, это, беги, голубка, домой, а то простынешь на уральской жаре. Гоп,

нди, а мы с ним на минутку в горком зале-
тим, понюхаем, какая там партийная погода.
Иди, иди, гоп...

Он торопит Аграфену Ивановну, даже под-
талкивает ее, а когда мы остаемся вдвоем, шо-
потом спрашивает меня:

— Она тебе чего-нибудь не говорила?

— О чем?

— Ну, про что-нибудь плохое не говорила?

— Нет. Или случилось что?

Никита Петрович берет меня под руку и
вводит в светлую, теплую переднюю городского
комитета партии.

Со второго этажа доносится гул совещания,
а над гулом звенит язвительный голос, должно
быть, дежурного секретаря:

— Опять плохо? Почему молчал? Решил
порадовать партконференцию и фронт? Спаси-
бо. Будет, не оправдывайся. Чего тебе нехва-
тает? Что?!

Никита Петрович вводит меня в одну из пу-
стых комнат нижнего этажа, расстегивает ту-
луп, бросает на стол шапку, обшитые кожей
варежки и садится.

Он попрежнему похож на усатого запорожца,
по седины на ершистой голове прибавилось, на
лице проступили складочки не то удивления,
не то досады.

— Никита, что случилось?

Он вскидывает голову. Взгляд у него, как
всегда, твердый и пристальный, а самые глаза
еще больше похожи на две дольки пятицвет-
ного редчайшего агата. Мы не мигая глядим
друг другу в глаза, — он испытующе, я вопро-
сительно.

— Видишь ли, — начинает он, но тут же

смыкает губы, порывисто достает из кармана куртки партийный билет и вытряхивает из него сложенный вдвое маленький конверт: — Вот, гоп, читай...

Столешница скрипит под его локтями. Я вынимаю из конверта две четвертушки бумаги, — это письмо среднего сына Никиты Петровича, Егора, токаря, а теперь танкиста.

«Дорогой отец! Вот, даже письмо начинаю не так, как надо: называю тебя не Сивым Беркутом, а дорогим отцом, будто ты сам не знаешь, что дорог мне. Виноват в этом не я, а... Э, не стоит поминать виноватого, будь он проклят! Я дал тебе слово писать правду. Какая стоит у вас домашняя погода, я не знаю, но это письмо испортит самую хорошую погоду, и наладить ее мы с тобой не сможем. Я не считаю маму слабой, но правды сразу сказать ей не могу. Коротко если говорить, то рубахи, какую она вышила на Урале, Антон носить не будет: его в живых уже нет. Он с колонной ушел в щель прорыва в сторону моря, там, в этой щели, и случилось все... Ты не тревожься: он жизнь отдал хорошо и не зря. Он очень рвался к морю, а почему, ты не хуже меня знаешь. Давай говорить о деле. Ты учил нас быть твоими товарищами. Вот я тебе и предлагаю: не показывай этого письма маме. Скажи ей, будто слышал от кого-то, что Антон в бою оторвался от своих и вынужден был примкнуть к партизанам. У мамы будет объяснение, почему от него нет вестей, а там, глядишь, вернется Тимофей, а за ним вернусь я. Мама как-нибудь обопрется на нас и перенесет

горе. Я не малодушничаяю, но я знаю сердце мамы. Ты пишешь, что она с трудом перенесла воспаление. Так зачем же отдавать ее в такую пору в лапы горя? Мы ведь обещали, что сведем ее к морю, и должны сдержать слово. Мы покажем ей море...»

Строки письма расплываются: опять встает море! Опять молодость клянется вернуть его нашим глазам! Я с трудом сдерживаю слезы. Никита Петрович и его сыновья много лет собирались повезти Аграфену Ивановну к морю, но сделать это мешали им то экзамены, то роды дочерей, роды невесток, болезни внучат... В год начала войны Антон по книгам и картам готовил Аграфену Ивановну к встрече с морем...

— Ну, гоп, чего молчишь?

Я делаю вид, будто дочитываю письмо, и говорю:

— Егор прав. А ты как решил?

— Никак, в этом все дело...

Он срывается со стула, шумно и быстро, будто за ним гонится кто-то, ходит по комнате и говорит:

— И правды не говорю Аграфене, и неправды сказать не могу. Соглашаюсь, что до поры надо скрывать, а гляну на нее — и гоп, не могу. Стыдно прямо. Егор плетет в письме, вроде я сердца ее не знаю. Э, какое там сердце! Так, вроде паутинки осталось что-то, щелкни этим письмом — и каюк. Она так любит Антона, что сказать нельзя... Из всех шестерых детей он для нее лучше всех. Вслух она не скажет этого, но от меня разве скроешь? Гоп, я все чую..

Никогда еще Никита Петрович так не говорил об Аграфене Ивановне. Мое взволнованное лицо, должно быть, кажется ему нелепым, и он круто останавливается передо мною:

— Чего молчишь? Гоп, или я звал тебя для того, чтобы ты опоенным теленком глядел на меня? По-твоему, как?

— По-моему, надо сделать так, как предлагает Егор,— говорю я.

Мои слова бесят Никиту Петровича, и он обеими руками хватает меня за воротник пальто:

— Егор, Егор... Заладила собока про Якова. Гоп, а что такое твой Егор? Щенок он — больше ничего. Чему он учит отца на старости лет? Врать? И как он учит этому? Антон, видишь ли, погнался за паскудниками. А на чем погнался? Гоп, на танке? Так где ж он, этот танк? Куда он дел его? Или на нем укатил к партизанам? Можно это? Кто этому поверит? За кого ты считаешь меня? Ну, говори, гоп, не молчи...

— Я не молчу. Перестань трясти меня, а го я тебя тоже начну трясти. Ты все себя слушаешь, вот тебе п кажется, будто я молчу. Ну, остановись, помолчи. Да уймись ты и слушай... Ты завтра же напишешь Егору, что согласен с ним...

— А ей-то, Аграфене, что сказать?

— Дослушай. Пиши Егору, что согласен, пускай он пишет ей письмо. О чем? Он лучше нас знает, о чем писать. Ей ты ничего не говори. Я сам все скажу...

— Что ты скажешь?

— Я передам ей слова танкиста, с которым будто бы случайно столкнулся в поезде...

— Какие такие слова, гоп, какие?

— Очень простые слова: о том, что Антон в погоне за немцами оторвался от своих и вынужден был уйти к партизанам, — вот и все. Письмо Егора подтвердит этот слух. А чтоб скорбное извещение не попало матери в руки, я приму меры...

Никита Петрович трет лоб и, морщась, спрашивает:

— Значит, по-твоему, можно так сделать?

— Да, так будет лучше...

— Гоп, я тебя спрашиваю не про лучше и про хуже. Можно, говорю, так делать? Мне вроде б стыдно, вроде б я на старости обманываю Аграфену...

— Нет. Не надо до лета говорить ей. Так мы сбережем ее сердце, а там...

Никита Петрович мучительно крикает, опускается на стул и озабоченно складывает письмо Егора. Сложить его он хочет так, обязательно так, как оно было сложено. И вложить его в конверт он старается так, как оно лежало там. Конверт не повинуется ему, на его лбу выступают капельки пота. Красота его сердца потрясает меня. Я провожу рукою по его ершистой голове и, чтоб помочь ему, совсем как будто буднично и даже хвастливо говорю:

— Никита, а мы с тобой не лысеем еще, а?

— Глупы, вот и не лысеем, — овладевая собою, ворчит он.

— Возможно, — соглашаюсь я и надеваю на него шапку, подаю варешки.

Он встает, глядя поверх меня, медленно застегивается, а я спрашиваю:

— У тебя в цехе дела как?

— Мог бы не спрашивать, — опять ворчит он.

— Значит, в порядке, да?

— А ты думал? Гоп, от меня немцу послабления не будет, я...

Он говорит о своей работе, о заводе. Я беру его под руку, и мы выходим из горкома. Наши тени кажутся синими. Они плывут перед нами по залитой луною мостовой, в скрипе снега слышатся теньканье синиц и журчанье шестеренок.

Я радуюсь, что Никита Петрович не молчит, расспрашиваю его, и мы незаметно подходим к дому. Невестки и внучата спят. На столе под лампочкой стоят три прибора и бутылка портвейна. К моей радости, Никита Петрович толкает меня под локоть и шепчет:

— Гоп, гляди, ради тебя даже среди ночи вина достала где-то...

— А вот и не доставала: оно с осени, на всякий случай, в сундуке стояло...

Болезнь обглодала и вытянула Аграфену Ивановну, — только улыбка скрашивает ее худобу. Она вся в белом и двигается почти бесшумно, — наливает в рукомойник теплой воды, хлопочет у стола, у плиты. Голос ее еще больше напоминает мне голос покойной матери. Мне представляется, как она вышивала для Антона рубаху, как гладила ворот этой рубахи... Никита Петрович тускнеет в моих глазах.

«Ты стареешь, ты чувствительным стал», — мысленно осуждаю я себя.

— Ну, гоп, выпьем за дружбу, за лучших наших людей, за танкистов. Садись, садись...

Я гляжу, как в стаканы льется вино, наспех

рассказываю о высоком танкисте, о том, как очутились у меня странички из его записной книжки, и добавляю:

— И за синее море выпьем!..

— Гоп, и за синее море, обязательно. И за то, чтобы мы скорее увидели его... Гоп, вот так, ну, прочитай, что там танкист написал...

Я вынимаю из кармана странички и, пораженный упавшим на стол красным светом, оборачиваюсь: через окна в комнату льется зарево доменной плавки... Я шуршу страничками, говорю о керченском доменщике Максиме Карабане и читаю кусочки из его обращения к песне про синее море...

ЯМА И РАЗУТЫЙ «БИТЮГ»

1

...По сию сторону гор злобно лютовала метель, а за горами, лесами и просторами радостно вздыхала согретая победой земля, и люди плакали от восторга, хватались за оружие и добивали врага. Там старики и женщины выкапывали со скарбом из земли портреты дорогих людей и, как иконы, несли их по улицам. Там над домами взвивались сбереженные красные полотнища и расправляли на ветру рубцы невиданной неволи. Там дети сбегались в стайки и заводили игры вокруг отбитых у врага танков, автоплатформ, пушек и самолетов, там...

Победа волнами раскатывалась по просторам, а здесь уже третью ночь снежная пыль заносила рельсы магистралей, падала под колеса поездов, громоздила сыпучие сугробы, забивала входы в забои, ойкала в заборах, в колючем крошewe трофейного лома. Доменные и мартеновские печи разрывали ее огнями плавок. Она шарахалась, взлетала на заводские крыши, дергала провода, ухала в эстокадах и пронзительно ныла в скрепах колошниковых площадок. Зарева плавок росли и ширились. В их багровом разливе по льду пруда, по пу-

стырям, улицам и переулкам, как в атаку, рядами, вереницами спешили мужчины, женщины, парни, девушки.

— Ну, и метель!

— Ничего! Слыхал, что в нашем краю творится?

— Да, да, сейчас узнаем.

Люди протирали заснеженные лица, вливались в заводские дворы и спешили туда, где есть географическая карта,—в партийные комитеты, в красные уголки. Там их обступали видения родной земли, родных заводов, там им слышались радостные крики и шелест знамен.

Перед картой толпились идущие на работу, их сменяли идущие с работы, горячие, пронизанные запахом железа, алюминия, флексигласа, травильных кислот, наждака.

Копоть, пыль, пот, борозды усталости — лица будто из бронзы отлиты, а в глазах нетерпение:

— Вот Сталинград...

— Вот Орджоникидзе, Моздок...

— А вот Кубань, Донщина...

— А вот...

— Дайте глянуть. Ух, вот здорово!

Ветер победы шумел над головами. От его буйного гула руки напряживались, с плеч слетала усталость. Люди с трудом переводили дыхание, будто всходили на вершину. Вот-вот — и каждый увидит свое: кто Черное, кто Азовское море, кто Дон, Кубань или Днепр, или Донец, Кальмиус, Лугань, Миус, шахты Ирмино, Горловки, заводы Краматорска, Константиновки, Харькова, Мариуполя...

У каждого в глазах реяло свое, родное. Руки становились легкими и шевелились, — люди будто летели и по-детски захлебывались словами:

— Во, видишь, где мы теперь?

— А вчера были здесь?..

— К нам уже рукой подать...

— И наши места рядышком...

— Эх, садануть бы «его» да вот так...

Великан в треухе сверкнул глазами, гневно вскинул локоть и как бы смахнул с карты погань...

Слов не было, словоохотливых тоже не было. Парень в кожанке разговорился было, но его остановили:

— Погодь, помолчи, да помолчи же, — и отгиснули прочь.

Он мешал видеть и слышать то, что творится за горами, за просторами. Он мешал вышоптывать слова о родных местах, о красоте степей, парков, садов, о сладости яблок, слив, арбузов.

— Пойдешь после работы в Дубовую или в Кленовую балку, а там водичка течет, бересточки кругом, и такая тень, а пахнет мятой, любистком...

Кто-то в упоении шептал о своем поселке:

— У нас по-нашему строили... Глянешь — и сразу видно, что это наш, советский поселок: дома не тят-ляп или по линейке поставлены, а так, что из них наша звезда получается...

Кто-то вполголоса вспоминал, как от шахты к шахте прокладывали трамвай:

— Мы все сами делали. Техники только трассу наметили, колышки вбили, а остальное мы сами: и выемку земли, и шпалы, и рельсы...

Придем всей бригадой с работы, вынет каждый метр земли — и сдавай лопату следующему. А цветов сколько развели. На всех улицах жаром горели. Садовод и цветовод у нас были прямо помешанные на этом деле. Или взять парк наш...

— Нет, вот как мы стадион делали... Вызвали нефтяников сразиться, а стадиона нет. Кинулись в организации, а там говорят — стадион полагается два года строить, иначе, мол, нельзя. Думали мы, думали и взялись сами...

Слова завораживали, перед глазами вставляли украшенные собственными руками улицы, парки, клубы, памятники, сады. Кто-то на полуслове оборвал себя и тяжело вздохнул, другой подхватил:

— Да-а, все испоганили, дьяволы.

— В грязь втоптали...

II

Здесь, у географической карты, запыхавшийся Никита Петрович нашел того, кто ему был нужен. Лицо его посветлело, посоленные временем усы шевельнулись, брови взлетели кверху. Он сзади положил руку на плечо парня в ватнике и жарко шепнул:

— Сидко, комса! Гоп, за мною, дело есть.

Сидор перевел взгляд с карты на стоявшую рядом девушку и недовольно тряхнул плечом:

— Поджди, ну чего еще...

Никита Петрович нетерпеливо пробасил:

— Нельзя ждать. Вся надежда на тебя, гоп! Сидор глазами сказал девушке, что сейчас

вернется, отделился от карты, и лицо его стало таким, будто ему помешали допеть песню.

Никита Петрович вывел его в коридор, притиснул к стене и зашептал. В такт словам он перекладывал с руки на руку обшитые кожей варежки и после каждой фразы требовал ответа:

— Гоп, сообразил, а?

Сидор слушал его угрюмо и глядел в сторону. Никита Петрович понимал, что парня томит усталость, что ему хочется вернуться к девушке, и все настойчивее требовал ответа:

— Ну, сообразил, а?

Лицо Сидора начало оживать, в глазах замелькали искорки, и он одобрительно глянул на Никиту Петровича:

— О-о, а ведь ты здорово обдумал...

— Гоп, не хвали, без тебя знаю, что здорово! Ну? Не тяни! Согласен?

— Согласен!

— О, а я что говорю? Посмел бы ты не согласиться! Что ты после этого за комса был бы? Я всюду искал тебя и в добрую минуту про карту вспомнил. Гоп, хода...

Они надвинули на уши шапки и вышли на пронизанный огнями воющий белесый холод. По сизым окнам цехов сновали тени ремней, рук и голов,— там клубился мерный рокот шестерен, звон инструментов, гул тележек, визг гочил и шорохи стружек. В этот переплеск вплеталась дробь пневматической клепки, где-то рокотал кран, и рокот его похож был на весенний гром. Откуда-то сквозь метель прорывались стрекот и голубые вспышки электрической сварки. Затем все — и вой метели, и шумы це-

хов — приглохло, — начали перекликаться заводы: закричал один, за ним другой, третий, — переплели голоса и повели, повели...

Хорошо поют на Урале в ночную непогоду гудки! Пока поют они, расскажем, о чем шептал мастер транспортного цеха Никита Петрович Вербовой своему земляку Сидору Москалец, комсомольцу и водителю гусеничного тягача, заслуженно носившего прозвище «Битюг».

Началось это вечером. Прекратил работу цех, где делались «фрицевы гроба»: так в шутку рабочие прозвали ящики, в которых завод отправлял на фронт боеприпасы. И вот, в пору, когда с юга летели вести о победе, цех перестал делать «фрицевы гроба»: не было досок. Доски, впрочем, уже были. Уведомление об их прибытии, во всяком случае, было получено, но где они находились, этого никто не знал...

Никита Петрович вынужден был сам заняться этим делом. Он обыскал все линии и тупики товарной и сортировочной станций и, хотя было уже темно, платформы с досками нашел: они стояли среди сугробов, в хвосте бесконечного состава. Метель гнала на них со стороны гор снежные валы...

Метель была злой, настойчивой, но Никита Петрович все и всех перекричал и всех, кого надо, поднял на ноги.

— Гоп, кто вы такие — дубье или советские желдоры? Бойцы Донбасс берут, а вы что? Метель уши залепила?! Гоп, с души не слезу, пока паровоза не будет...

Паровоз нарядили, но вытянуть платформы с досками из сугробов было нелегко, и Никита Петрович пригнал их на заводскую ветку лишь

после ночной смены, когда освободившиеся люди уже разошлись, а грузовики и лошади ушли за топливом.

Заводская ветка не доходила до цеха, где делались «фрицевы гроба», переправить туда доски было некому, а главное — не на чем.

Никите Петровичу было ясно: если он сложит руки, платформы с досками простоят на ветке до утра, до утра не будет «фрицевых гробов» и завод опозорится, а возможно, случится и худшее: а вдруг именно тех самых боеприпасов, какие завод мог бы послать в эту ночь, нехватит на фронте для того, чтобы сломить врага.

— Гос, так не годится, нет...

Никита Петрович знал силу мелочей. Ого, всякое большое дело, как это ни обидно, состоит из мелочей и зависит от мелочей: мелочь прилипнет к одной мелочи, к другой, к третьей, — получится цепь мелочей, а без этой цепи целое уже не целое, а только часть... Нет, он не охотник играть наруку мелочи или мелочам...

— Нет, нет...

Никита Петрович решил, что в основном завод могут выручить два человека: сам он и Сидор Москалец. Правда, у него не было уверенности, что у Сидора хватит на это сил: парень отработал подряд две смены и к рассвету должен вернуться на завод. Но Сидора заменить нечем, и Никита Петрович приготовился не только взывать к его чувству долга, чести и дисциплины. Этого, казалось, было уже недостаточно: Никита Петрович решил бить Сидора в самое сердце: твои, мол, старики в эту ночь, может быть, дрожат в ожидании ос-

вобождения, а это освобождение, может быть, зависит от тебя, от Сидора... Ничего этого говорить, к счастью, не пришлось. Сидор хотя и не сразу, но согласился помочь. Покорили его и самый замысел Никиты Петровича, и его дальноркость, и кипучий жар. Сидору хотелось даже сказать об этом, но в помещении он не посмел задерживать Никиту Петровича, а наруже слова были уже ни к чему. Сидор только выкрикнул:

— Сделаем, не успеет стриженная девка косы заплести!

Никита Петрович одобрительно крикнул, и они под песню гудков свернули на огни только что отстроенного цеха, куда Сидор из смены в смену подвозил монтажникам оборудование.

III

«Битюг» стоял под навесом у стены. Сидор и Никита Петрович сняли с него листы фанеры и доски. Он был в полной исправности, сразу же зафыркал, взял на буксир подбитые широкими железными полозьями огромные сани, загрещал выхлопной трубой и, подминая под себя сугробы, двинулся туда, куда указал Никита Петрович.

— Кати прямо, так к ветке ближе будет, гоп!..

Никита Петрович стоял на «Битюге» рядом с Сидором и, покачиваясь, сквозь метель плыл по недавно освобожденному от строительного хлама краю заводского двора. Он был доволен, хитровато улыбался и мысленно прикидывал, в каком цехе можно будет найти для пе-

регрузки досок свободных людей. Больше всего его привлекал мартеновский цех: там тепло, там, вероятно, и людей можно найти,— многие после смены не отважились в метель идти домой. Пускай поспят пока...

Метель вдруг как бы натужилась, с визгом толкнула Никиту Петровича в бок и белесой пеленою заслонила качающиеся в снежной мгле цехи. Он пошатнулся, стиснул рукою плечо Сидора:

— Гоп, что за морока?!

И они оба почувствовали, что «Битюг» кренится, теряет равновесие и стремительно ползет вниз.

Так началась ночная страда. Никита Петрович и Сидор спрыгнули в глубокий снег и в один голос выругались: «Битюг» сполз в хорошо знакомую им яму. Водители заводских машин не раз с проклятьями объезжали эту яму, не раз на собраниях добивались ее засыпки и были уверены, что она уже засыпана. Никите Петровичу и Сидору представился даже наклеенный на щит приказ начальника транспортного цеха. В приказе говорилось, почему яму у нового цеха надо засыпать, кто и в какой срок должен ее засыпать. Кроме того, они вспомнили заметку в цеховой газете об этой яме. Никита Петрович скрежетал зубами:

— Засыпана, чтоб вам руки поотсыхали! А я, дурак, не поглядел, поверил болтунам. В святцы не заглянули, чортовы псаломщики, лягушки заспанные... Гоп, давай, Сидко! Может, выберемся...

Метель запорашивала «Битюга», и он, как попавшая в беду добрая лошадь, побряхтывал

и все глубже уходил в снег. Сидор, раз за разом, вертел ручки, дергал рычаги и шипел:

— Нет, не берет...

— Пробуй, пробуй, вот язва египетская...

Но машина взвизгивала, стонала — и ни с места. Метель как бы издевалась над бессилием «Битюга», все щедрее вздымала над ним снежную пыль и заносила его.

Никите Петровичу и Сидору то и дело казалось, что они своей тяжестью мешают «Битюгу». Они спрыгивали в снег и почти молили:

— Да ну же... Ведь бой идет, а ты... нну-у...

Никита Петрович даже дергал гусеницу, а Сидор, разъярившись, обозвал «Битюга» клячей и стал поносить его:

— У-у, задохнулся, поганец! Какой ты после этого комсомольский тягач? Ну-нну-у... Чорт ты лысый, а не «Битюг»! Мы хвалили тебя, а ты...

И это как будто помогло: «Битюга», казалось, охватил стыд, он натужился, стал подминать под себя снег и пошел, пошел! Вот он уж вздыбил передок, готовясь выпрыгнуть из ямы, но в нем что-то закрежетало, охнуло и захлебнулось глухим, почти человеческим криком: «Не могу-у!» «Битюг» подался назад и, будто оправдываясь — делайте, мол, что хотите, — не могу, — затарахтел нутром и замер.

Сидор в отчаянии крикнул:

— Разулся! Честное комсомольское, разулся! Ах, голова моя бедная!

Они ощупали «Битюга» и безнадежно махнули руками: «Битюг» разорвал на себе гусеницу. Вот это и вызвало крик Сидора:

— Разулся!

Обуть «Битюга», то есть поставить его на

гусеницу, связать или склепать скрепы гусеницы, э-э, для этого прежде всего надо было вытащить самого «Битюга» на ровное место. Сделать это мог хороший грузовик или тягач, а где его взять? Да если бы тягач и подвернулся, обуть «Битюга» ночью, в метель, все равно не удалось бы. Стало быть, в яме или возле ямы, но «Битюг» простоит всю ночь, оборудование в новый цех с рассвета поступать не будет, а цех этот через несколько дней должен уже работать... Должен!

— Ух, нечистая сила! Спишь, халява, бюрократ недобитый...

Слова эти должны были бы падать на голову того, кому приказом поручена была засыпка ямы, а в действительности летели в метель, та грумливо подхватывала их и уносила в пустоту. Никита Петрович не мог не почувствовать, что он смешон в своей ярости. Когда это дошло до его сознания, он взъярился еще сильнее и хлопнул Сидора по плечу:

— Но, Сидко, давай, гоп, за мною! А если это назло сделано, так я им...

Никита Петрович на бегу снял варежку и кому-то погрозил кулаком.

IV

В мартеновском цехе было жарко и до ломоты в глазах багрово. У барьера крайней печи хлопотали облитые пламенем сталевары. По желобу в ковш с непередаваемым рокочущим звоном лилась сталь, через край ковша по носку в обмазанные глиной короба стекал шлак. Из соседней печи сталь была уже выпущена,

разлита, и над нею в канаве роились звезды; изложницы, куда она была вылита, люди прикрывали листами железа и так торопились, будто перед ними были ульи, из которых могли улететь рой пчел.

Красота и сила плавки на этот раз не тронули Никиту Петровича и Сидора. Они пробежали вдоль штабелей стальных слитков и начали оглядывать цеховые конторки, красный уголок, закоулки на литейном дворе и на площадке у печей. Никита Петрович не ошибся, и голос его то и дело гремел над спящими:

— Ага, браток! Гоп, вставай, нужен, дело есть!..

Никита Петрович и Сидор расталкивали людей, призывали в свидетели своей правоты Сталинград, весь фронт, Донбасс, доказывали, заклинали, молили, стыдили, насмехались, шутили, — все было пущено в ход, и человек пятнадцать двинулось за нпмп.

Метель рвала полы тулупов, забиралась под ватники, запорашивала глаза, но доски, слетая с платформ, стуком простреливали вой, визг и ледяные шорохи снега. Когда работа окрепла, Никита Петрович побежал в гараж и на конный двор. Часть машин и лошадей вернулась, но людей уже не было. Опять пришлось ошаривать углы, будить, кричать, заклинять, призывать. В конце концов Никита Петрович примчался к ветке на грузовике, затем на санях. Следом за ним шли еще подводы, и он, как бы маня их за собою, махал руками и кричал заиндевелому возчику:

— Гоп, золотой мой, погоняй! В поле летом день год кормит, а на войне удача от минуты

зависит. Соображаешь? От одной минуты! Гоп!
Орудуй, хлопцы!

Доски летели на грузовик, на сани, а Никита Петрович уже бежал в цех и долго мучился там над устаревшим ненавистным телефоном. Телефон дребезжал, зумкал в его руках, хрипел, а он взывал к центральной станции, чертыхался, ворчал и кое-как связался с нужными людьми. Едва грузовик и подводы выбрались из сугробов, ящичный цех осветился. Женщины, распахнув двери, втаскивали доски и метлами обметали их. Взвились голоса ленточных пил. Доски разлетались на части и окуривали цех ароматами леса. Вскоре застучали молотки. Готовые «фрицевы гроба» ложились на тележки и штабелями уплывали через дощатый коридор в секретный цех...

V

В цехе у Никиты Петровича была своя конторка, но близилось время смены, и он повел усталого Сидора не к себе, а в красный уголок:

— Гоп, давай часок куриным делом займемся, соснем...

Они сдвинули скамьи и улеглись на них. Пол покачивался под тяжестью проходивших за стеною тягачей и убаюкивал их. Спали они не долго, и все же Никита Петрович успел увидеть хороший сон. Когда его разбудили, он прежде всего осудил этот сон и осудил за то, что он не во-время приснился:

— На шее беда, а в голову сладкое лезет. Снились, понимаешь, Сочи. Забрался я будто в санаторий и выхожу на балкон. Солнце светит, а море такое голубое, ну, прямо, как гла-

зок моей внучки. Вот, лучшей минуты не выбрало присниться. Гоп, Сидко, в баню, а баня нам будет, добрая будет баня, но ты не тревожь зря молодого сердца...

Никита Петрович взял Сидора под руку и ободряюще пояснил:

— Ты знай молчи, я все на себя возьму: я, мол, приказал из ямы выбираться и надорвал «Битюга»...

— А чего ради ты будешь выгораживать меня? — возмутился Сидор. — Оба виноваты...

Никита Петрович дернул его за локоть:

— Как это оба? Кто оба? Гоп, шевели мозгами. Ты государственно гляди на все, а не как-нибудь...

Сидору не хотелось спорить, и он подумал, что Никита Петрович, как многие старики, упрям и самолюбив: виноват, но изворачивается, хочет переложить свою вину на кого-то еще. Мысль эта тут же показалась Сидору вздорной, и он отбросил ее. В чем виноват Никита Петрович? Ящики были нужны, и он поступил правильно, иначе он не мог поступить. Да, и все же его поступок будут осуждать, называть своеволием... И пускай называют. Иное своеволие порою выше правил, раз эти правила бесполезны, а своеволие полезно. В чем дело? Не попади «Битюг» в яму, Никиту Петровича благодарили бы за находчивость и умение поднять людей на неотложное дело. Авария помешала ему сделать так, как он задумал, и поставила его замысел вверх ногами. Но причина этого кроется не в нем: яма оказалась не засыпанной, а она должна быть засыпанной. Да, а вдруг тому, кто должен был засыпать ее, указали не ту

яму и он засыпал другую — мало ли на заводе ям? — тогда...

Мысли спутались в усталой голове Сидора, и привести их в порядок он не успел: дверь в конторку начальника цеха скрипнула, и за нею сразу же началось то, что Никита Петрович назвал баней.

Начальник цеха вскочил со стула:

— А-а, явились...

Из-за случая с «Битюгом» он вынужден был раньше явиться на завод, от разговоров и звонков у него уже ныла голова: все требовали немедленно заменить «Битюга» тягачом (а свободного сильного тягача не было), все твердили, что из-за него монтажники в новом цехе уже отстают, из-за него этот цех в срок не приступит к работе, из-за него...

— Кто вам разрешил ночью трогать тягач? Куда вас несло в метель? Вы кто, новички? Старый партиец, комсомолец, а что делаете? Вместо того чтобы подавать пример, вы...

— Да ведь «фрицевых гробов» не было, платформы с досками простояли бы всю ночь, и за это нам, гол, влетело бы... Вот мы и хотели...

— Я не обязан знать, чего вы хотели! Я здесь ведаю не вашими хотениями, а военным государственным делом!... И отвечаю за это дело я, а не вы! Я не позволю подрывать единичалие, я не потерплю у себя тарарама...

И прочее, и так далее. Начальник цеха прерывал Никиту Петровича и Сидора, стыдил их, распекал, даже насмехался над ними:

— Возмечтали! Может быть, в герои захотели, а виноват я! Донимают и парят не вас, а

меня! Яма, яма.. Не прикрывайтесь дурацкой ямой. Плевал я на яму!.. Я решительно поставлю о вас вопрос, и в приказе вы с перцем, как следует, будете помянуты...

— Но ведь мы...

— Слушать не хочу! Вам что-то почудилось? Надо было по старинке перекреститься, чтоб не чудилось, и не делать глупостей..

Голос начальника гремел, пронизывал, казалось, потолок и взвивался к самому небу. В это время вошел редактор заводской газеты. Крик начальника дорисовал ему случай с «Битюгом»,— все было ясно, расспрашивать не о чем. Редактор молча глянул на Никиту Петровича, на Сидора, молча прошел в соседнее помещение, то есть в конторку Никиты Петровича, и снял телефонную трубку.

Перегородка была тонкой, и голос редактора доносился к начальнику цеха внятно. Редактор велел сократить первую полосу сверстанной газеты и на освободившемся месте поместить заметку о «Битюге». Случай с «Битюгом» он изложил по телефону так, что Никита Петрович крякнул и потянул Сидора к выходу:

— Гоп, Сидко, а то еще в контрреволюционеров обернут нас! Ха, да засыпь эта халява яму, разве о нас так говорили бы? Но яма, видишь ли, не при чем, главное, что мы не спросились, не благословились, единоначалие нарушили. Только у какого чорта я среди ночи мог это самое благословение взять? — вот заковыка... О, и ты прибежал?!

Этот крик относился к распахнувшейся двери смуглому бровастому секретарю цехового пар-

тийшого коллектива. Никита Петрович схватил его за локти и встряхнул:

— Поздно, брат, прибежал! Гоп, нас тут уже под орех разделали и в газете на потеху продерживают. Но мы с тобою старые други-приятели, а какой я, ты еще по Донбассу знаешь... Так вот! Гоп, всем людям объясни: почему яма у нового цеха не засыпана?.. А та самая... Ха, вот, вот, бумажкой, приказом засыпали ее. К чорту бумажки! Бумажками обманывают, а я верю им и слепым кутенком, гоп, вместе с «Битюгом» падаю в паршивую яму. Вот, давай ответ, шуруй! С души не слезу! Я вам не жевжик из-под стрехи, я вам...

Голос Никиты Петровича долго еще прорывался из цеха в контору. Сник он за воротами и сник, казалось, оттого, что наруже было безмятежно тихо и ослепительно бело: метель улеглась, небо отливало бирюзью, солнце золотило заводские дымы, а клубы пара превращало в набегающие друг на друга огромные жемчужины.

Никита Петрович в удивлении вскинул голову и, как бы призывая в свидетели чистое небо, спросил:

— Во, видало такую пакость? Виноват кто-то, а мы с Сидком отвечай, а?

Небо не ответило ему, и он устремился на главный пролет между цехами. Там женщины лопатами и метлами убирали снег. От мелькающих платков, рукавиц, тулупов, юбок и валенок рябило в глазах. Никита Петрович прищурился и, размахивая руками, побежал навстречу пятитонке:

— Стой! Говорю, стой! Садись, Сидко, кати и покрепче закручивай! Я тебе сейчас пришлю самых злых ребят!..

VI

Пятитонка натянула трос, ворчливо стронула с места «Битюга» и медленно потащила его. Переваливая через край ямы, он тяжело качнулся, и с него посыпались и поползли комья снега.

— Дай вперед! Еще на полметра! Еще! Хорош!

«Битюг», гремя порванной гусеницей, стал на очищенное от снега место. Сидор начал обметать его, а когда пятитонка скрылась, сказал:

— Вот, и себя осрамили, и тебя в инвалиды загнали. А почему? А все потому, что...

Ответить Сидору помешали крики и смех. Пятеро парней в ватниках — двое впереди, трое сзади — шумно везли к «Битюгу» поставленный на полозья огромный промасленный ящик. Они с хохотом подкатили к Сидору. В ящике были ломки, длинный лом, кувалда, домкраты, слесарные инструменты, заменяющий наковальню кусок рельса и прутья железа. Парни оглядели, ощупали «Битюга», вооружились инструментами, подставками и набросились на него:

— Ну, давайте! Разом-раз! Еще-о раз!..

«Битюг» дрогнул, подался чуть-чуть вверх, потом еще, еще и через несколько минут был уже частью на домкратах, частью на деревянных подставках.

Парни были уверены, что авария произошла по вине Сидора, и сочувственно спрашивали его, как он летел с «Битюгом» в яму, не разбили головы. Сидор отшучивался и помогал им

выдирать из снега гусеницу, расчленив порван-
ное место, снимать и выпрямлять погнувшиеся
скрепы.

Никита Петрович был занят на ветке и не
видел, с какой неохотой обувался «Битюг», с
какой дьявольской ловкостью парни приводили
его «в боевой вид». Когда Никита Петрович
прибежал к месту своего ночного позора, Спдор
уже заправлял машину, а парни собирали в
ящик инструменты и фукали на руки.

— Готов?! Ну, Сидко, гоп, навестывай, а то
голова от галдежа гудит. Виноваты мы или не
виноваты — это особый разговор, а дело стоит,
гоп...

В эту минуту вдруг будто из снега возникла
с ног до головы облитая солнцем девушка в се-
ром тулупчике. Сидор растерялся: вчера он сто-
ял с нею перед географической картой, не раз
проводил ее до общежития, не раз думал о ней
и не мог решить, отчего она такая и почему от
нее пахнет мальвами. Ее появление почти ос-
лепило его: раз она сама пришла, значит, она
думает о нем, значит... Он был уверен, что де-
вушка прежде всего спросит, почему он вчера не
вернулся к географической карте, и ему было
досадно: придется рассказывать об этой глупой
яме, о «Битюге». Ему не хотелось говорить об
этом, а голубоватые глаза стремительно прибли-
жались. Девушка выдергивала из снега ноги в
коричневых валенках и синей юбкой как бы
заметала за собой следы. Снег сверкал, и юб-
ка сверкала. Должно быть, от этого двор,
клубы пара и дыма представились Сидору
усеянными голубоватыми веселыми пятнами.
Но вот девушка крикнула:

— Товарищ Вербовой, к начальнику!

Крикнула, и Сидор нахмурился: это была не та, совсем не та девушка. Глаза у нее не голубоватые, а карие, и лицо не то, и нос не такой...

Он сдвинул брови и склонился к машине. Никита Петрович заторопил его и пошагал за девушкой. Он не видел, как «Битюг» брал на буксир сани, но его фыркание и тяжелую поступь слышал за собою и с удовольствием вдыхал крепкий, золотой от солнца, холод: Сидор и «Битюг» не подведут, нет, конец телефонным звонкам, всем этим разговорам...

Улыбка шевельнула его усы, но донести ее до цеховой конторы ему не удалось: в цехе, на щите, он увидел свежий плакат: яма, в яме на боку лежит «Битюг», перед ямой стоит сам он, Никита Петрович, с победно развевающимися длинейшими усами, а под его ногами глаза-стая обидная подпись.

— Во, уже намалевал, понял, значит, в чем гвоздь,— пробормотал он, и ему стало жарко, почти душно: из конторы вышел редактор цеховой газеты.

Никита Петрович указал на плакат и строго спросил:

— Гоп, правильно это?

— Точно! Нарисовано, правда, наспех, но нарисовано правильно, не взирая на лица.

— Значит, виноват, по-твоему, я?

— Точно, не я же «Битюга» в яму загонял?

— Вот именно, что ты! Гоп, слушай! Кто в газете писал, что яма засыпана?! Ты! А я, дурак, поверил тебе и виноват? У-у, балаболка!

Последнее слово Никита Петрович как бы

подхватил на варежку, подбросил его к лицу редактора и сердито шагнул к начальнику цеха:

— Ну, опять будет разговор про «Битюга»?

Начальник притворился, будто не замечает его раздражения, и тихо сказал:

— Ты присядь, Петрович, и давай о доменных печах подумаем. Я боюсь, что на железном руднике люди по горло в снегу сидят, а по телефону успокаивают нас. У нас руда завтра может кончиться. Забудь все, езжай на рудник, ставь на ноги живых и мертвых. Наладишь, выпишь и сменишь меня. Машина у ворот ждет, вот ее номер...

Лицо Никиты Петровича залила краска стыда: он еще утром должен был узнать, что творится на руднике, но не сделал этого. «Яма заморочила». В досаде он не обратил внимания даже на то, что ему подали не разбитую заводскую таратайку, а новенькую машину главного инженера. Заметил он это только в пути и, заметив, крикнул: раз подали машину главного инженера, значит, с рудой плохо, значит, заводу грозит беда...

— Гоп, это хуже хужего, — вслух пробормотал он. — И все будут ручками размахивать, сваливать все на метель: занесло, мол, заледело... Гоп, и занесло, раз рудник открытый, а вы зевали. Здесь вам не Донбасс, здесь и погода не та, и люди не те...

Никита Петрович запнулся и вспыхнул: пф, чего это он раскаркался? Урал не Донбасс, люди не те. А чем плохи здесь люди? Сразу не улыбаются и не обнимают тебя? И хорошо делают. Зато какие мастера! Какое чутье у

них! Иной чуть ли не на слух определяет, уварилась сталь или не уварилась. По звуку находят в машинах изъяны. Ха, не сразу верят новому, неповоротливы... Есть грех, верно, от старинки не совсем отвыкли, но поворотливыми люди делаются не сразу, нет. Ишь, чего захотели! Чтоб каждый не ждал распоряжений, а находил в себе эти распоряжения, чтоб умел изобретать, улучшать, бороться за улучшения да еще не падать при неудачах духом,—ха, легонькое дело! Вот он, Никита Вербовой, сам себе отдал ночью приказ и правильный отдал приказ, а что вышло? Плакат вышел, хе... И что ж ему, сладко, что ли? Не мутит его? А к вечеру газета выйдет с заметочкой. И все это надо переварить, не растеряться, не обидеться. Легче всего обидеться и махнуть на все рукою: не буду, мол, стараться, раз вы бьете с плеча; буду, мол, делать отсюда и досюда, а дальше ни-ни, дальше не моего ума дело! Это легче всего.

На этом Никита Петрович умолк и жадно припал к окну. На пустыре, по вылизанному ветром ослепительному снегу, танкисты объезжали не совсем еще готовые чумазные танки. Снег взлетал, курился и сверкал над ними. В снежной пыли под боевыми башнями Никите Петровичу вдруг почудились головы сыновей, и ему показалось, что он думает о пустяках и не едет, а ползет, что шофер бережет обитую кожей новенькую машину главного инженера. Он зубами сдернул с руки варежку, стукнул в стекло и будто выстрелил:

— Гоп, гони! Чего жалеешь эту фитюльку?!

У конторы рудника витрины с портретами лучших рудокопов были наискось занесены снегом. Сердце Никиты Петровича сжалось и заныло. Он свернул на свежее протоптанную тропу, прошел немного и насторожился: издали долетел говорок отбойного молотка, знакомо зарычала машина и что-то тяжело ударилось о железо. Он вытянул шею, пошел быстрее и посветлел.

Из-за скалы выплыл великан-экскаватор. Он, как всегда, деловито вгрызался в бок горы, насытившись, мерно повернул верблюжью шею, раскрыл челюсти, и смешанная со снегом и глиной руда упала на железную платформу. Слева великану подражали другие экскаваторы. Паровозы подталкивали под их челюсти платформы. Чистые рельсы сверкали в глубокой снежной траншее.

Никита Петрович охватил все это подобрешими глазами и загрохотал:

— Одолели метелицу? Вот это земляки! Гоп, обнимаю за ухватку, но трясти буду, ой, буду... Нет, нет, вы по-украински не гакайте и по-уральски не чокайте. Мне руды на броню, руды, руды! Не спали? Завируха одолевала? Вот удивили! А у нас на заводе лето стоит и арбузы зреют. Погода была хваткая, кто спорит. У меня эта погода в печенках и под печенками на скрипке играет. А слышали, что на Донбассе делается?

Рудокопы, оказалось, знали более свежие вести, но Никита Петрович сделал вид, будто уже слышал их, и подхватил:

— Вот, идет бой, а для боя что нужно? Гоп, руды! Руда — главный кпт, а на китах, говорили старики, весь свет стоит. Не сдавать, гоп, ни-ни...

Он расспрашивал, как дрались с заносами, рассказывал о заводе, хлопал варежками и, не прощаясь, по шпалам побежал туда, где промывали и обогащали руду.

На погрузочной площадке было почти пусто, и это отпугнуло от Никиты Петровича радость:

— Еще не подали? Вот дьяволы!

Он кинулся к ненавистному телефону и так «мучил» его, так ярился перед ним, что даже в распадке под горою слышно было:

— Центральная? Да будь ты неладна! Центральная? Спишь, что ли? Металлургический два! Занят? Фу-у, дьявол! Поторопи!..

Он выбежал наружу, оглядывал выработку обогатительной, промывочной фабрик, запасы непромытой руды и возвращался к телефону:

— Центральная? Ой, да не трави души, она еще делу нужна! Гоп, металлургический два... Кто? Я, я... Сходственно идет дело! Успеем! Но ты не спеши цвести да радоваться! Платформ обещанных еще нет. Скажи Фоме, чтоб нажал. Да живо там! Все! Центральная? Дай сортировочную! О, вот повезло! Ты что ж это? Где твое слово? Стыдом завод обратять хочешь? Послал? Ну-у? Сколько? Мало! Додашь? Когда? Сколько? Не подведи! Нельзя, сам знаешь...

До сумерек бегал Никита Петрович по руднику, а больше всего «висел» на телефоне. Тревога отошла от его сердца, когда прибыли составы платформ. Он оглядел их, заулыбался,

по всей линии — от рудника до завода — по телефону взял с людей слово, что составам с рудой задержек не будет, и почувствовал, что трое суток спал урывками и ел на бегу.

— Фу-у, кажется, все. Вот когда, Никита, тебе автомобильчик главинжа был бы кстати...

Мысль, что он может не дозвониться в заводоуправление и потеряет у телефона час, а то и больше, вызвала в нем ощущение, похожее на зубную боль, и он двинулся в город пешком.

Холодная темнота зыбилась перед глазами, над заснувшими досадными мыслями о «Битюге» проплывали новые заботы: о предстоящем собрании, о ремонте жилых бараков, о контроле столовой, о добыче материалов для починки в цехе валенок. Подумать об этом он собирался утром, когда голова будет свежей. Да, да, ни о чем не надо больше думать, хватит... Сейчас придет он домой, по-уральски, у порога, снимет валенки, разделенется, смоев трехсуточную грязь, поест, выпьет стакан горячего малинового настоя с аспирином — верное, испытанное средство! — поговорит с домашними — и спать, спать...

Отдых уже брал его в теплые руки, заглаживал царапины обид, снимал с плеч усталость, утишал боль и вдруг, будто рассердившись, оттолкнул прочь. Нет, похоже, спокойно поесть и заснуть ему не удастся. Невестка, наверное, уже вернулась с завода и принесла газету. Жена прочитала в газете о случае с «Битюгом» и, может быть, лежит теперь с больной головой. Никита Петрович фыркнул и заворчал:

— Поверила? Ну, и верь, гоп, верь и сыновьям на фронт напиши: вот, мол, батька вам про работу все расписывает, а сам в такую пору машины в ямы сажает и подводит завод. Пиши, чего ж. Раз в газетах пишут и на плакатах малюют, п ты пиши, пиши-и...

Никита Петрович хмыкал и посмеивался, будто речь шла о пустяке, но досада клевала сердце, и он сердился на самого себя: все оправдываешься? Черное хочешь сделать белым, а оно, гоп, не выходит и не выйдет: ведь «Битюг» в яме был, посадил его в яму ты, стало быть, в газете написали правду, но тебе не нравится это, ты рычишь...

— Правда? Гоп, где правда? — вслух возмутился Никита Петрович. — Правда — вот где, в сердце, а кто туда заглядывал? Грязью обмазывать, гоп, пальцами показывать — глядите, какой Вербовой! — это всякий может, а заглянуть, разобраться кишка тонка...

Никиту Петровича охватил приступ слабости, и слова спутались. Он остановился, притиснул к груди руки, сомкнул веки и шопотом брезгливо сказал самому себе:

— У-у, хрыч старый, раскудахтался. И в газете тронуть нельзя тебя, подумаешь, цаца какая...

Он перевел дыхание и с минуту вслушивался, как холод пощипывает края век. Затем ему почудилось, будто перед ним зажгли свет: в закрытые веками глаза вступила багровая мгла и зароилась золотыми, зелеными и голубыми пятнами.

— Вот еще морока.

Никита Петрович распахнул веки и встрепе-

нулся: темноты уже не было. Под горою, на заводе, в доменной печи пробили лётку. Расплавленная руда в ослепительных звездах бежала по желобу. И чем выше нарастал ее поток, тем шире охватывало багровое зарево цехи, прилегающие к заводу дома, улицы, мост. С моста свет перекинулся на пруд и побежал по простору. Его игра на снегу как бы разбудила домну на заводе, где работал он, Никита Петрович, и она тоже брызнула огнем. Ее зарево, разрастаясь, прыгнуло через дома и побежало к зареву под горою. Оба зарева сплелись, как бы подталкивая друг друга, взлетели кверху и встали над городом огромными пламенными воротами.

Звезды потускнели, небо стало похожим на издырявленное в бою знамя, а вершины далеких труб слились в подобие виденных Никитой Петровичем зубчатых стен Кремля. И оттуда, из-за этих стен, в Никиту Петровича вдруг как бы воззрелся думающий о родной земле, о всех родных людях, неутомимый и скупой на слова человек в солдатской куртке.

Под его взглядом Никите Петровичу стало радостно, неловко и стыдно. Он топнул ногою, как бы оттолкнулся от дороги, пошагал на зарево доменных плавов и забормотал:

— Сталин, небось, не спит, заботится в Кремле, а забот у него не то, что у тебя. У него гора забот, а ты перед несчастной ямой расурился. Эх, ты!

СИГНАЛ ЗАХАРА КАЛМЫКОВА

...Да нет, не угощайте меня,— не до выпивки, да и водка эта плохая. Уж я дотерплю — больше терпел — и выпью такой водки, какая редко даже снится. Где она? Ха-га! Видели в пути будку в цветах? Это и ёсть мое становище, там и водка.

Девять лет в земле настаивается, но я уже дал друзьям сигнал: как прикончим немца, приезжайте. И они прилетят ко мне: начальник станции из-за Рязани — Никита Евтушенко, классный машинист из-под Челябины — Никола Куфтии, бригадир из депо Казань — Юсуп Мухамедов, а с Сурамского перевала — диспетчер Шалва Мгеладзе,— вот с кем я буду пить ту водку! Она на ягодах, на дружбе настоена, а дружба на большой песне взошла. За всех павших, за славных живых, за своего наркома выпьем, а за товарища Сталина в первую голову...

Хочется, чтоб случилось это нынешним летом: богатый урожай, к тому ж надо, чтоб друзья затепло запаху пашей лесной стороны глотнули и вникли, как я путь содержу, как бригадирствую и как бригадирствует награжденная Ксения Потаповна, жена то есть моя.

Друзьям я все покажу и душу до дна рас-

крою, потому дружба с ними — это межа, с нее моя жизнь пошла, как говорят машинисты, на большом клапане и по самой зеленой улице...

Случилось это девять лет тому назад. В самую жару грянула гроза, за грозою хлынул ливень. Ух, вода нитками толщиной в палец хлестала! Земля голодным теленком лакала ее, а лес и сад будто с ума сходили от радости; все трепыхалось, фыркало, покряхтывало. Здорово было! Мой покойный дед такую погоду разливай-радостью называл, а мне от этой поголы хлопот через край сердца.

В нашем деле ливень — это хуже напасти. Он тебе на пути щебенку и баласт раздрызгает, шпалы ослабит, а с костылями, болтами и гайками так набалуует, что руки отмотаешь потом.

Это со стороны кажется, что путь всегда одинаковый, — какая, мол, беда — рельсы да шпалы цапают? Спору нет, железная дорога не поле с цветочками, — ветер пути не шевелит, но его все касается, все зудит и тревожит его: и паровозы, и вагоны, и все эти стуки-перестулки, а уж дождь, ветер или ливень — эти в первую голову трясут его, и он шевелится. Не видно только, но приглядишься и увидишь...

Вот идешь по пути, все костыли сидят в шпалах, как полагается, но пробежит с десяток поездов, подует ветер, припечет солнце, глядь — иные костыли вроде бы выдергивал кто, не осилил да так и бросил. А с болтами и гайками бывает еще чудней. Ты подтянул их, кажется, намертво укрепил, а через день-два глядишь — ослабели. Человеку без понятия чер-

товщина в голову ползет: кто-то, мол, по ночам по пути с ключом ходит и балует. А на самом деле все от дрожи, от ветра, от воды, холода и тепла. И тебе надо знать это, держать ушки топориком да помнить, какое дело тебе доверено.

Я того ливня не забуду. Был он девятнадцатого, не то двадцатого июля. У меня в кармане уже счастье лежало — путевка в Сочи. Понимаете? Моим напарником была жена. В путевое дело я втянул ее, когда подросли и разъехались дети. В помощь ей, на время моего отпуска, с узла должна была дочь явиться. Вот, и все же оставлять после ливня путь непроверенным боязно было. Мало ли что случится.

Дня четыре дознавались мы с женой, нет ли перекосов, взбучин, промоин. Где надо, подправили, подтавокали и пошли врозь. Жена вещками занялась, я на слух стал проверять, все ли в порядке. Кто не понимает, тому смешно, а я всегда ухом проверяю: так ли сделали руки?

Иду, на стыках постукиваю,— здесь паровозы и вагоны каждым колесом норовят садануть рельсы да еще приговаривают: «Вот тебе, вот тебе, вот, вот...» От такой ласки и сталь каши запросит. А ведь среди паровозов есть такие молодцы, что под их пятками не только шпалы — земля стонет.

Ну, иду, постукиваю, слушаю, не задребезжит ли где, чуть не к полотну пригибаюсь и веселею: трещин нет.

Исправный путь — все равно что скрипка на ветру: все услышишь, если с толком слушать. Как с толком? Ей-ей, сразу не объяснишь, но я

на пути все слышу и его голоса с голосами проводов или еще чего не спутаю. Вот дует, примерно, ветерок — путь чуть-чуть говорит; дует ветер — путь громче говорит; задует из-за леса ветрище — путь позванивает и гудит; если где-нибудь через переезд обоз перебирается — путь постанывает; а уж если машина на нем — тут он за километры вдувает мне в уши — гу-гу-гу-бу-бу-бу. И я по его голосу пойму, холостяком бежит паровоз, с пассажирами, с порожняком или с грузом...

Ну, иду и веселею: путь хорош, значит, жене с дочкой будет бесхлопотно. Уже закат занимался, а закаты у меня такие, что хочешь — не хочешь, а порадуешься: справа сосны и слева сосны, а между соснами, как вода по руслу, свет на рельсах огнится. И тихо-тихо. Слышно, как с горячего пути в лес уходит тепло, а из леса на путь прохлада стелется...

«Вот и конец заботам», — думаю.

Только подумал, а с пути в ухо — дрр-дррр. Что такое? Остановился — затихло, а мой Дуглас — кличку эту собаке младшие дети из Москвы завезли — как зальется...

Подношу руку к глазам, гляжу — батюшки! — против моей будки в закате мреет дрезина, с нее кто-то сигналил, чтоб я скорее шел, а Дуглас от злости чуть на дрезину не прыгает.

У меня от досады даже сердце зашлось: как это я шума дрезины не услышал? Махнул рукою жене да бегом. Подбегаю — на дрезине парторг с узловой станции стоит.

— Уйми, — кричит, — собаку да собирайся в Москву!

— Чего это ради?! — удивляюсь.

— А того ради,— кричит,— что лучше всех путь содержишь! Не рассирашивай, а то поезд можем прозевать. Дочку твою мы сами доставим сюда...

Убрал я инструменты, умылся, надел все чистое, чемодан в руки— и на дрезину. Летели мы так, что ветер подмышками щекотал. Примчались—поезд на Москву уже на узловой. Получил я билет, бумаги, а звонок — бем, бем!

Вхожу в купе, а там они, теперешние мои дружки,— Евтушенко, Куфтин и Юсуп. Познакомились. Они тоже в Москву на совещание едут, а оттуда, как я, на юг нацеливаются.

Узнали они, кто я, за что знак отличия получил. Я узнал, кто они. Послушал, к разговору прилачился, гляжу — мастера хоть куда и не болтуны.

«Эге, Каалмыков, эге, Захар,— говорю себе,— попутчики у тебя отменные. С ними, может, и сердце в ремонт повезешь в Сочи...»

Сё да то, пошли мы в вагон-ресторан, поужинали, пива выпили,— разговор стал теплей. Чуть не до зари проговорили. И до того поправились они мне, что я перед Москвой расхрабрился и говорю:

— Хоть и не знаю, каким человеком кажусь вам, только мне думается, нам следует держаться вместе, а?

Засмеялись они, и я засмеялся. Ну, будто чуяли мы, чем это кончится! Заходим в Москве в гостиницу и просим отвести нам номер на четверых, только на четверых,— больше нам, мол, никого не надо. А что вышло? Всякие оказались номера — на одного, на троих, на пятерых, а вот на четверых, как нарочно, ни

одного. Покряхтели мы, взяли номер на пятерых, не успели полотенец и мыла вынуть, входит сухонький, чернявый, будто ртутью налитой, человек.

— Привет,— говорит,— я тоже железнодорожник, диспетчер Шалва Мгеладзе, буду у вас пятым...

Занял койку, мигом умылся, надел белые брюки, вышитую рубашу и выдвигает на середину номера стол. «Что такое?» — глядим. А он начинает выкладывать на стол переложенные бумагой персики. Кладет, кладет и столько наложил их, будто при нем не чемодан, а холодильный вагон.

— Вот,— говорит,— ешьте да объясните мне, что за совещание будет у нас. Я в отпуске в селении был и по телеграмме выехал прямо оттуда...

За персики мы, конечно, принялись с дорогой душой, но деликатно, а они, подлые, сами во рту тают. Нажмешь зубами, брызнет сок, пошевелишь языком — и нет персика. Говорим, спрашиваем Шалву про дела на Кавказе и глазами сигналим друг другу: этот, мол, компании не испортит. Персик ко рту — навстречу слово, персик в рот — еще слово, глядим — пора на совещание итти. Так табуном и пошли. Перед совещанием в народе потолкались, рядышком места заняли, слушаем, в ладоши хлопаем, а хлопать было чему...

Вечером вместе поужинали, вместе метро осматривали, удивлялись. Дальше-больше — живем лучше однокашников: друг о друге заботимся, если один расстроится или не поймет чего, все успокаиваем его, объясняем...

Я даже удивлялся: чего, мол, я так привязался к людям? Не к худу ли, мол? Я ведь бирюк. Столько лет у леса сидел, ветра да метели слушал. Вырастил, правда, пятерку детей, с их подмогой к чтению пристрастился, в партию вошел, во всем как будто разбираюсь, а к людям большой тяги не было. В молодости дружил, правда, а потом или некогда было или по-настоящему за сердце никто не задел,— все один да один. Иногда я даже думал, что дружба у людей бывает только в молодости: это, мол, что-то вроде кори или ветрянки...

А тут на — на сорок восьмом году жизни друзья завелись. И какие друзья! Гляну на них, подумаю, что мы скоро разъедемся, под сердце печаль въедается. А дело шло совсем к другому.

Кончилось совещание — везут нас в Кремль. Что там было? Я и теперь, через девять лет, толком рассказать не берусь. И все оттого, что зал, где нас принимали, не раз будто в туман уходил, а меня то жаром, то холодом обдавало. Одно скажу: перевернуло меня тут.

Не думал я, что когда-нибудь услышу настоящее слово о своей работе. Суть, конечно, не в словах, а в том, что говорил самый скупой на слова человек, сам товарищ Сталин, а он зря слова не бросит... И опять же не то! Он вроде бы и не говорил, а вот взял всех нас, весь наш труд да поставил на ладонь, да вздел ее вот так и всему народу, всему свету показал: вот, мол, какие люди страдают на вахтах у полотна, на станциях, на стрелках, на водокачках, в депо, на паровозах, вот какое дело делают, вот за что мы ценим их...

Нам и тепло, и весело, и зябковато было, — самая суть дошла до сердца. Работаете ты где-то в лесу, на участке, считаете себя чуть ли не затерянным, а где-то у наших людей большая спешка или беда, — может, вода плотину подмывает, или горы хлеба погибнуть могут, или идет бой... И чего-то нехватает там — вагонов, машин или боеприпасы кончаются... Людям позарез нужна помощь, а помощь эта, между прочим, зависит и от тебя, от обходчика, от машиниста... Ты что-нибудь не так сделал, опоздал, задержал поезд, и помощь людям во-время не успеет... Вот и выходит, ты не затерянный, а большой, в большом государственном деле народу позарез нужный человек.

Не только у меня — у многих слезы выступали тогда на глазах. Из Кремля мы вышли будто хмельные. Молча вошли в гостиницу, молча сели за стол и глядим, а глаза у всех такие, будто нам сейчас надо приниматься за дело, какого мы никогда еще не делали.

Первым встрепенулся Шалва. Кашлянул, будто у него в горле не заладилось, и встает. Глядим — рот у него открыт, губы шевелятся, а слов нет. Взмахнул рукою, будто подстегнул себя, и говорит:

— Вот, понимаете, у меня перед глазами все отец стоит. Он еще при старом порядке железнодорожничал. Чуть что, всякий чин разносил и распекал его: «Тебя, сякого-такого, дорога кормит, ты должен быть благодарен, а ты, сякой-такой, что это...» Грозили прогнать, жалованье сбавляли. А мой отец был заботливым, в непогоду болел за поезда, за людей — ведь у нас горы, в непогоду с гор бегут потоки... Отец

места не находил, даже смерть настигла его на работе. Он таки и не понял, кто он есть... Он ни одного доброго слова не слышал о себе. А мы слышали... Мы не слово слышали, а песню про нас; про нашу работу... песню на всю страну... И я думаю, надо подхватить эту песню...

Мы еще не понимали, к чему клонит Шалва, но поднялись на ноги и то один, то другой кладем ему на плечо руки и руками будто говорим: так, Шалва, так, яснее говори. А у него слова путаются.

— О том,— говорит,— что было в Кремле, в газетах напишут, на собраниях будут говорить... это само собой. А вот как мы с вами? Мне не хочется, чтобы мы так разъехались. Мы с вами такие люди, что если захотим, то и на расстоянии будем эту песню петь, а?..

Горячится, глаза горят, а мы все не понимаем его. Выручил Юсуп: положил на Шалву руку и спрашивает:

— Ты про что? Про отпуска? Правильно! Я уже отдохнул! Я никогда еще так не отдыхал. Едем назад! Не хочу отдыхать!..

— Как не хочешь? — удивляется Шалва.— Это, Юсуп, неправильно. Отдыхать надо, если хочешь лучше работать... Я не про это, я про другое... Давайте, ну, хотя бы раз в четыре или в пять лет, по очереди встречаться друг у друга, давайте на месте глядеть, как идут у нас дела, давайте мешать друг другу застаиваться. Я от чистого сердца предлагаю... Согласны, а?

Вот какой Шалва! Горячился, горячился, а костерок все-таки затеплил, но тут же застыдил, а как понял, что мы согласны, выхватил

из кармана записную книжку, вырвал из нее пять листочков и пишет на одном из них: «Первая встреча у тебя».

— Кому этот листочек достанется,— говорит,— у того у первого мы и встретимся.

Свернули мы листочки, бросаем в фуражку и тянем по-одному. Самым счастливым оказался я: первая встреча должна была состояться у меня! Понимаете? Я даже обомлел. Стою с листочком и будто сквозь сон вижу свою будку, лес, пасеку, место, где посажу друзей, чем буду угощать их, как они будут мой путь осматривать, как поведу их в колхоз, в лес за грибами,— все встало перед глазами.

«Вот, Калмыков,— говорю себе,— ты думал, твоего труда никто не оценит, никто не склонится к нему, а что получилось, Захар? Ведь засияла правда, да как засияла...»

Я на линии привык разговаривать с собою, так и здесь. Стою, говорю, а Куфтин сзади надевает на меня фуражку и торопит:

— Пошли, пошли. Разве можно после такого дела сидеть в номере...

Вышли мы на улицу, взялись под руки и шагаем. На Красной площади были, у мавзолея стояли, по набережной вдоль кремлевской стены шли, с Каменного моста на Кремль глядели, у памятника Гоголю говорили... Прохожие ворчали на нас — вот, мол, весь тротуар заняли,— а мы все о переписке, о встречах уговариваемся да придумываем, как бы нам всем в одном поезде на юг выехать... Я этой ночи никогда не забуду!

В номере Шалва начал что-то писать, и мы не видели, когда он лег. Просыпаемся — вместо

Шалвы под простыней лежит чучело из одеял, к спинке кровати фуражка прислонена, а из-под нее вместо головы торчит записка: «Ждите семафора на юг».

Посмеялись мы, но ждем. И что вы думаете? Прибегает, веселый такой, и с порога кричит: — Семафор открыт! Сейчас едем, собирайтесь...

До Ростова мы ехали так, будто все еще находимся в Москве. За Ростовом Шалва загрустил, за Тихорецкой загрустил крепче и стал намекать, что если б мы были настоящими товарищами, то прежде всего отвезли бы его домой, погостили бы у него, а уже потом, куда ни шло, занялись бы собою. Мы отшучиваемся, говорим о сердце, о ломоте в костях,— он и слушать не хочет.

— Вздор и чепуха,— говорит.— Да я вам, если хотите, такое лечение закачу, что вы ни ломоты, ни коликов слышать не будете. Вы что, заморыши или искалеченные лошади, чтоб в стойлах отстаиваться? Едете на юг, а юга не увидите, юг в санатории не лечится, он сам всех лечит. Ведь вы не видали даже, как чай растет. Да что чай! — я вас во всех реках, во всех цветах выкупаю и такое покажу, что оно снится будет вам...

Заговорил, заговорил,— руки дрожат, глаза горят. Поглядел я на него, послушал и заколебался. «В самом деле»,— думаю. А главное— уж очень хорош Шалва, хотелось сделать ему приятное. К чему клонит он, я только потом догадался.

— Что же, товарищи,— говорю,— давайте уважим Шалву. Авось не обеднеем, дней впе-

реди много... Шалва, во сколько дней обернуться можно?

Он чуть не расцеловал меня и ну высчитывать. Ух, и хитрый! Брови хмурит, пальцы загибает, губами шевелит — два дня, мол, туда, два обратно, а в общем — надо пять дней... Согласились мы. Он тут же написал телеграмму и со станции послал ее вперед...

Приехали мы в Сочи, а его дружок уже приготовил нам машину. Выпили мы нарзану, едем, думаем, нас в какую-нибудь загородную гостиницу везут, глядь — перед нами уже Мацеста, за Мацестой Хоста...

«Эге, — думаю, — ай-да Шалва». К ночи домчались до Гагр и заночевали. Просыпаемся — кругом зелень, впереди море, воздух чистый-чистый, не надышишься. Перекусили — и дальше. Мчимся, а море то скроется, то выпрыгнет, и такое голубое, что я свое сердце и впрямь перестал слышать. В Гадаутах, на Новом Афоне — везде останавливались, ели шашлыки, вместо воды пили слабенькое вино, фруктами заедали, купались в Бзыби, еще в каких-то реках, в море купались...

Влетели в Сухум, заняли номер, — батюшки! — балкон выходит прямо на пальмы, на мимозы, за пальмами, рукой подать, море, — в самое лицо дышит. Смыли с себя пыль, перекусили, и повел нас Шалва в тамошние сады, в парки. Не зря говорил он, что во всех цветах выкупает. Да что там цветы! — деревья такие, что забыть нельзя.

О пальмах я не говорю. Лавр растет там везде, ну, как у нас ясень, клен или ветла. На горах леса мимозы. И камфорное дерево, и вос-

ковое, змеиное, пробковое! И орехи, инжир, самшит, платан, бананы. А бамбук! — и золотистый, и серый, и черный, будто из дыма выскочил...

Глядим, удивляемся, а дни летят. На четвертый день сели вечером на пароход и — на верхнюю палубу. Город уплывает, звезд над пароходом все больше, а море тоже звездится, играет искрами, светляками. Всю ночь не спускались мы в каюту. Я не раз говорил себе: «Вот, Калмыков, какая у тебя родина. Побольше захватывай всего глазами...»

В Потти мы купались в Рионе, а купаться там — дело не легкое: Рион на тигра похож. — летит, вгрызается в море, пена взлетает.

Приплыли в Батум, осмотрелись и катим на Зеленый мыс, на чайные плантации, в мандариновые сады, а оттуда в Кобулету. Вот где рай! Жили мы у самого моря. Кругом тишина, чистота, от садов и цветов хмель.

Выйдешь на берег, галька чистая-чистая, ляжешь, море шумит, и ты слышишь, как из тебя в теплый берег уходят ломота, усталость. Дней десять раевали мы в Кобулету. Вернулись в Батум и попали к тамошним железнодорожникам. Рассказывали им о приеме в Кремле, о своей работе и с собрания поехали в Тифлис. Думаете, сразу попали туда? Хе-ге, не такой Шалва человек.

В Самтреди, в Кутаисе останавливались, на станции, где Шалва работает, целого барана съели, на собраниях выступали, Куфтин показывал, как паровозом без рывков составы с места надо брать, Евтушенко со станционными

колдовал, я показывал, как на пути неполадки распознаю...

Ну, бродили еще в горы, были в колхозах, в Арагве купались, были в Гори, видели домик, где жил товарищ Сталин.

Приехали в Тифлис — от отпуска остались рожки да ножки: у кого шесть, у кого семь дней, а у Шалвы только одни сутки. И мы не жалели, — нет! Молодец Шалва! Научил, как надо радовать друзей! Мне теперь уже под шестьдесят, а вот не сдаю. Не зря, значит, во всех реках Кавказа купался! И теперь весело, как вспомню все!

Ну, стали мы собираться домой. Шалва помогает, садится с нами в машину, но — вот же человек! — привозит нас не на вокзал, а на станцию, откуда автомобили ходят по Военно-Грузинской дороге. Расцеловали мы его, садимся. — хлоп! — он дает мне запакованный ящик.

— Вот, вези, — говорит, — а что в ящике — это секрет. Дома вскрыешь и узнаешь, а остальные узнают, когда съедемся к тебе. И вы, — просит, — не обижайте меня, не вскрывайте в пути ящика. Обещаете?

— Ладно, — говорим и катим на север.

Ой, по каким местам ехали мы! Как поминали Шалву!

Домой я вернулся за сутки до срока. Отдал жене и дочке подарки, расспрашиваю, как у них дела шли, а самому не терпится. Вскрыл ящик, гляжу, он до краев орехами набит. «Хм», — удивляюсь и запускаю в орехи руку. Слышу — пальцы упираются во что-то. «Эге», — думаю. Запускаю руку глубже и вынимаю из орехов ладно запаянный небольшой бидон. К бидону

записка пристегнута, а в ней наставление мне: в бидоне, мол, спирт из-под Сурама, крепостью в девяносто шесть градусов, разбавь его наполовину, сделай на ягодах настойку, запечатай ее в бутылках и до нашей встречи поглубже зарой в землю.

Вот какой Шалва! Оглядел я путь, где надо, подправил его и бегу с кузовком в лесные буреаки,— там черная смородина до осени держится. Набрал самой крупной, да в бутылки ее, залил разбавленным спиртом, запечатал и в землю.

— Настаивайся,— говорю,— до 1939 года.

В 1939 году к нам присоединялись Западная Украина, Западная Белоруссия,— не до встречи было. Летом 1940 года нашу встречу сорвала болезнь Евтушенко, и мы перенесли ее на август 1941 года, а в июне 1941 года на нас напал немец. Но вот же амба ему, гадине. И я дал сигнал друзьям!

Жена говорит, я поторопился, а по-моему, нет, не поторопился. Белый свет уже чернеет в глазах немца, а мои друзья немало сделали для этого. Мы все время переписывались, и я знаю, что каждый из нас делал. О всех пятерых не раз писали в газетах, не раз наши имена на почетных досках были... и ни один из нас не сошел с поста, ни один не забыл песни в Кремле...

СОДЕРЖАНИЕ

Волчья песня	3
Слово об Иване Спросиветер	11
Русские ночи	36
Желанный гость	47
Любка	56
Трое у щели	66
Оркестр	78
Осенний звездопад	84
Хата Фомы	91
Суд при луне	102
Дело с ящиком	112
Две смерти	122
Железные кресты	132
Про синее море	139
Яма и разутый «Битюг»	159
Сигнал Захара Калмыкова	185

Редактор *Вл. Бахметьев*

А 3052. Подписана к печ. 12 марта 1945 г. Печ. л. 61/4.
Авт. л. 7,4. Уч.-изд. л. 7,69. Зак. 2116 Тираж 15000.
Цена 5 р., в переплете—6 р. 50 к.

Гип. „Красный печатник“, Москва, ул. 25 Октября, д. 5.